

КОНСТАНТИН СИМОНОВ

РАЗНЫЕ ЛИЦА
ВОЙНЫ
(СБОРНИК)

Константин Симонов

Разные лица войны (сборник)

«ФТМ»

Симонов К. М.

Разные лица войны (сборник) / К. М. Симонов — «ФТМ»,

Перед вами уникальная книга, составленная из четырех блоков: дневники, повести и стихи, связанные общим временем и местом действия. Многие детали дневников находят осмысление в повестях, многие стихи оттеняют или выявляют подоплеку описанных в прозе событий. Пятый блок, «Сталин и война», подводит итог многолетним размышлениям К.М.Симонова о Сталине и его роли в огромном механизме великой войны.

Содержание

От составителя	5
Пантелеев	8
«Разные дни войны» (главы XIV и XV)	8
Глава четырнадцатая	8
Глава пятнадцатая	29
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Константин Симонов

Разные лица войны

От составителя

Предисловия бывают ритуальные, концептуальные, панегирические, уточняющие и разъясняющие. Это короткое предисловие – если хотите – технологическое. Мне необходимо объяснить, почему книга, выходящая к трем юбилеям, составлена именно так, как эта.

Сразу три памятные даты связаны с именем К.М. Симонова: в августе 2004 года сравнялось четверть века со дня его смерти, в мае 2005-го – шестидесятилетие Победы, а в ноябре того же года автору этой книги исполнилось бы 90. Так уж получилось, что лучшее из написанного Симоновым – о войне. Жизнь начав военным корреспондентом на Халхин-Голе, последнее, что успел закончить – шесть серий «Солдатских мемуаров» – всё о том же, о жестоком и счастливом времени своей молодости, ставшем мерой исторической и человеческой, которой и себя и других мерил потом всю оставшуюся жизнь.

Главным, что он написал о войне, сам Симонов считал книгу «Разные дни войны», где в двух томах собраны его военные дневники 1941–1945 гг. Не один год он потратил на то, чтобы раскопать в архивах, вытащить из переписки, отследить в разных статьях и книгах все, что связано с увиденными и описанными в дневниках событиями и создать из этого второй слой – комментарий к документальным дневниковым записям. Книга эта была закончена в середине шестидесятых, но натолкнулась на жестокое сопротивление цензуры и вышла сильно покорёженная, отдельным изданием только в 1976 году. Недовольство цензоров вызвано было симоновской трактовкой событий начала войны, попыткой разобраться, кто и каким образом навязал нам эту «внезапность», с которой обрушилась на страну самая трагическая из всех войн, выпавших на ее долю. И какова роль в этом Сталина. Только через много лет после смерти писателя авторский вариант дневников 1941 года был напечатан под названием «Сто суток войны», где восстановлены все «съеденные» цензурой куски.

Надо добавить, что в буквальном смысле слова все дневниковые записи, составившие значительную часть объема книги, не были «дневниками». После очередного возвращения с фронта, сверяя собственные воспоминания с фронтовыми и корреспондентскими блокнотами, Симонов диктовал эти записи редакционной машинистке. А потом хранил написанное в сейфе главного редактора тогдашней «Красной звезды», генерала Д. И. Ортенберга. Так что запрета вести дневники, наложенного на воюющую страну ее военным руководством, Симонов не нарушал. Разве что чуть-чуть.

Мы включили в книгу главы «Разных дней войны»: связанные с четырьмя командировками в действующую армию: в осажденную Одессу, в Крым, на самый Север – в части, воюющие в Баренцевом море, и в Подмосковье – в связи с началом первой победоносной операции этой войны – изгнанием немцев из-под Москвы.

Из каждой поездки Симонов привозил не только журналистские материалы, статьи, очерки, заметки, написанные на основе тех же фронтовых блокнотов или прямо по памяти, он привозил из командировок стихи, которых все с большим нетерпением ждала воюющая страна. Самым знаменитым из симоновских стихов стало написанное в конце июля – начале августа сорок первого года, а напечатанное в «Правде» в феврале сорок второго – стихотворение «Жди меня». Упоминания о том, как рождались те или иные стихи, рассыпаны по дневникам, и многое из памятной читателю лирики, составившей впоследствии сборники «Лирика-41» и «С тобой и без тебя», появилось на свет в те дни, там и тогда.

В книгу вошли стихи, упомянутые Симоновым в его дневниках, и другие стихи того же сорок первого года, написание или публикацию которых можно связать с людьми, событиями и местами, в дневниках описанными.

Наконец, третий компонент этой книги – проза. В начале шестидесятых в журнале «Москва» были напечатаны две короткие повести о событиях сорок первого – «Пантелеев» и «Левашов» (вторая повесть имела еще название «Один день»). Повести эти представляли собой как бы два из трех начал романа о войне.

Замысел романа постепенно сконцентрировался вокруг событий, имевших место на Западном фронте – сначала Могилев, потом Подмоскovie, там жили и действовали Синцов, Серпилин, маленькая докторша, а сюжеты, связанные с другими поездками на фронт, обрели другого героя – журналиста Лопатина, человека иного, чем Симонов, поколения, иного облика, иной судьбы. Правда, как и автор, журналист Лопатин служил корреспондентом «Красной звезды»? Любопытно, что образ Лопатина впервые появился в прозе Симонова намного раньше, чем возник и роман, и эти повести. Еще в сорок третьем, в повести «Дни и ночи», первой крупной прозе Симонова, его герой, капитан Сабуров, сталкивается в Сталинграде с немолодым уже и очень невоенным человеком в мешковато сидящей гимнастерке, корреспондентом Лопатиным.

Так в творчестве Симонова возникли две параллельные линии. Одна – роман «Живые и мертвые» и два его продолжения: «Солдатами не рождаются» и «Последнее лето». Вторая – повести о Лопатине. Появившиеся следом за «Пантелеевым» и «Левашовым» короткие повести «Иноземцев и Рындин» и «Жена приехала» связаны с двумя другими поездками на фронт осенью и зимой сорок первого года: на полуостров Рыбачий – в самую северную точку военных действий, и в Подмоскovie, когда впервые, пусть только на время, война повернулась: мы стали бить и гнать фашистов. Потом повести о Лопатине продолжились «Двадцатью днями без войны», и завершила этот цикл повесть «Мы не увидимся с тобой». В результате автор объединил этот цикл в роман из повестей и назвал его «Так называемая личная жизнь».

Мы печатаем первые четыре лопатинские повести в их оригинальной редакции, когда они еще не слились в роман.

Таким образом, книга составлена из четырех блоков: дневники, стихи и проза, связанные общим временем и местом. Многие детали дневников находят осмысление в повестях, многие стихи оттеняют или выявляют подоплеку описанных событий. Нам кажется, что такое взаиморасположение их дает читателю новый взгляд на вроде бы давно сделанное и написанное.

Пятый блок: «Сталин и война». В самые последние месяцы жизни Симонов надиктовал книгу «Глазами человека моего поколения». Вторая часть этой книги должна была подвести итог многолетним размышлениям автора о Сталине и его роли в огромном механизме великой войны. Но успел он закончить диктовку только первой части книги, а для второй отложил материалы, собранные и написанные за два последних десятилетия жизни: его герои и собеседники – маршалы Жуков, Конев, Василевский, адмирал Исаков.

Мы посчитали, что эти документальные записи и интервью тоже заинтересуют читателя в преддверии 60-летия Победы.

В конце 1965 года, готовя дневники к публикации в «Новом мире» (они так и не были опубликованы), Симонов предпослал им короткое вступление, отрывком из которого я хочу закончить это затянувшееся предисловие:

«В начале Великой Отечественной войны мне было двадцать пять лет. Сейчас – пятьдесят.

Готовя записки к печати, я испытал потребность высказать мои нынешние взгляды на события того времени – это сделано в комментариях.

В них читатели найдут также ряд фактических уточнений. Я сделал это в комментариях, а не в тексте, потому что наше тогдашнее незнание или неверное толкование многих факторов

есть историческая черта того времени, и, чтобы наглядно ее обнаружить, я предпочел комментировать, а не исправлять написанное мною тогда.

В тех случаях, когда мне это удалось, я постарался проследить дальнейшие судьбы людей, с которыми я встречался в 1941 году, и истории частей, в которых был.

Если верно, что нельзя оценивать события сорок пятого года, упуская из памяти сорок первый год, – в такой же мере верно и обратное – невозможно осмыслить события начала войны, не памятуя о падении Берлина. Хотя погибни в сорок первом, так и не узнали об этом».

Алексей Симонов

Ноябрь 2004 года

Пантелеев

«Разные дни войны» (главы XIV и XV)

Глава четырнадцатая

...Я уже третьи сутки сидел в Севастополе, когда Халип с Демьяновым вернулись из Одессы. Яша оказался молодцом и, кроме снимков, привез в блокноте материал для одной или двух корреспонденций, чтобы мое плавание на подводной лодке не лишило газету информации об Одессе.

Привез он из Одессы и одну тяжелую для меня новость. Вскоре после того, как в «Красной звезде» появился мой очерк «Все на защиту Одессы», в котором я рассказывал, как одеситы своими руками ремонтируют танки, а «Известия» напечатали корреспонденцию о том, что в Одессе производят минометы и гранаты, немцы усиленно бомбили различные городские предприятия. Потом, здраво рассуждая, я пришел к выводу, что это было простое совпадение. Ни в моей, ни в другой статье не было указано, где именно все это делается, а немцы, как раз в эти дни начав ожесточенно бомбить город, естественно, прежде всего обрушились на промышленные предприятия. Так подсказывал здравый смысл. Я не нес моральной ответственности за эту статью хотя бы потому, что на завод, где ремонтировались танки, меня направил член Военного совета именно для того, чтобы я написал об этом корреспонденцию. Но в напряженной, нервной обстановке осады, очевидно, все это воспринималось иначе, и Яша, рассказывая об этом, говорил, что в политотделе армии были сердиты и на меня, и на корреспондента «Известий» Виленского и просто не хотят слышать наших имен. Было тяжело на душе оттого, что пусть несправедливо, но все-таки впервые за войну какие-то люди, оказывается, проклинают твою работу.

Утром мы поехали в Симферополь. Первый день целиком ушел на то, чтобы разобраться в записях Халипа и сделать по ним две небольшие корреспонденции из Одессы. Одна из них не пошла, а вторая – «Батарея под Одессой» – была напечатана в «Красной звезде» за двумя подписями – Халипа и моей. В этой корреспонденции среди прочего шла речь о командире морской батареи майоре Денненбурге, который с первого дня войны ничего не знал о своей семье, оставшейся в Николаеве, и я втиснул в корреспонденцию несколько слов майора, обращенных к жене Таисии Федоровне и сыну Александру. Это было сделано с таким расчетом, чтобы его семья, если она успела эвакуироваться из Николаева, прочла в газете, что майор жив и здоров. Тогда я сделал это впервые, а потом несколько раз повторял этот прием, стараясь хотя бы через газету связать героев моих очерков с их семьями, о которых они с начала войны ничего не знали.

Майор А.И. Денненбург, о котором мы писали, остался жив, остались живы и его жена, и сын, о чьей судьбе он тогда ничего не знал.

На том месте, где стояли орудия одной из батарей его дивизиона, сейчас создан мемориальный Музей одесской обороны, с большой силой достоверности напоминающий о сорок первом годе.

«...Во время отхода из Одессы 42-й дивизион береговой артиллерии, где я был командиром, прикрывал отход войск. Батареи вели огонь до 3.30 16 октября 1941, т. е. до тех пор, пока последний солдат Приморской армии не оставил Одессу и пока корабли с войсками не оставили порт. Затем мы побатарейно взорвали материальную часть и на рассвете различными

средствами, на сейнерах, буксирах и боевых кораблях, ушли в Севастополь. Можете себе представить, как тяжело было уничтожать орудия, которые так добросовестно, безотказно служили всю оборону. Но такой был приказ...»

Так написал мне теперь полковник береговой артиллерии в отставке Денненбург, вспоминая об этом, наверное, самом трудном часе своей военной жизни.

...На другой день утром я пошел к члену Военного совета 51-й армии корпусному комиссару Андрею Семеновичу Николаеву.

Николаев был невысокий, плотный, я бы даже сказал, грузноватый мужчина, на вид лет сорока – сорока пяти. Узнав, что я явился к нему по приказанию Ортенберга, он встретил меня радушно и стал рассказывать, что хорошо знает Ортенберга, что они вместе участвовали в боях в Финляндии. Когда я сказал ему, что мне бы надо поговорить с Ортенбергом, но я пока не могу добиться этого, он ответил, что попробует связаться с «Красной звездой» и вызовет меня.

Едва я вышел, как меня снова позвали к Николаеву. Он уже разговаривал по телефону с Ортенбергом. Смысл их разговора, кроме дружеских восклицаний, кажется, сводился к тому, чтобы я остался здесь, у Николаева в армии, на длительное время. Видимо, Ортенберг отвечал утвердительно. Потом трубку взял я. Ортенберг откуда-то очень издалека кричал, чтобы я держал тесную связь с Николаевым и бывал попеременно то здесь, в Крыму, то в Одессе.

– Но когда будешь ездить с Николаевым, осторожнее! – кричал он. – Он тебя угробит, имей в виду!

После этого разговора по телефону Николаев обратился ко мне уже как к своему человеку и сказал, что мы с ним тут все объездим.

– Отведем вам жилье, телефон поставим, чтобы была с вами связь, и будем вместе ездить.

Кажется, у него сложилось впечатление, что меня к нему прикомандировали на веки вечные, и я понял, что он хотя и воевал вместе с моим редактором, но не знает до конца его беспокойного характера.

Я спросил у Николаева, какое положение в Крыму. Он сказал, что пока все спокойно, но немцы уже почти всюду, начиная с Геническа и кончая Перекопом, подошли вплотную к нашим укрепленным позициям и со дня на день можно ожидать столкновений. Это было для меня новостью. Я уже знал, что наш фронт по Днепру четвертого числа прорван у Каховки, но не предполагал, что немцы так быстро преодолеют большое расстояние и выйдут непосредственно к Перекопу.

Для нас, военных корреспондентов, в этой обстановке возникали дополнительные сложности. По сводкам, немцами еще не был взят Херсон, ничего не сообщалось о форсировании ими Днепра, а нам отсюда уже не сегодня-завтра придется начать писать о боях на подступах к Крыму. Как это можно будет делать, оставалось совершенно неясным.

Николаев убежденно сказал, что ему приказано удержать Крым во что бы то ни стало и лично он, пока жив, будет выполнять этот приказ. Потом Крым был все-таки отдан, а Николаев остался жив. Но в этом его трудно винить. То, что человек этот не погиб, на мой взгляд, чистое чудо.

Разговор с Николаевым кончился на том, что он завтра едет осматривать позиции и берет меня с собой.

Вечером нам была отведена чья-то квартира, пустая, большая, неизвестно было, что с ней делать. Но, застелив откуда-то доставленные койки выданными нам простынями и подставив к столу вместо стульев два чемодана, мы все-таки почувствовали себя домохозяевами и договорились с Халипом, что я двинусь завтра с Николаевым, а он пока съездит в Севастополь и снимет там какие-то морские сюжеты, уже не помню, какие.

Утром мы выехали с Николаевым на «эмочке» через Джанкой на Чонгарский полуостров. Ехали вчетвером – Николаев, я, его адъютант Мелехов, выглядевший совсем мальчиком – ему и было всего двадцать два года, – и шофер.

К середине дня приехали в штаб дивизии на Чонгар. Штаб был расположен на совершенно открытом месте. Все было довольно глубоко закопано и с точки зрения защиты от бомбежек неплохо продумано, но с точки зрения возможности отражения вражеских атак укрепления вокруг штаба дивизии как-то не внушали мне доверия. Казалось, здесь не предполагали, что немцы могут ворваться на Чонгарский полуостров, хотя, может быть, это было только мое личное восприятие.

В штабе дивизии нас встретил генерал-майор Савинов, человек, лицо которого трудно было запомнить, хотя, кажется, оно было даже красивым. Как мне показалось, он почему-то суетился перед Николаевым. На вопрос Николаева, что делается в дивизии, он ответил, что немцы вышли к станции Сальково и заняли ее, а один из батальонов расположенного в этом районе полка остался там, за станцией. Его не успели отвести, и сегодня вечером будет принята операция – мы будем атаковать станцию отсюда, с перешейка, с тем, чтобы застрявший на той стороне батальон мог выйти сюда.

Николаев спросил, где комиссар дивизии. Генерал сказал, что комиссар поехал вперед, в полк. Николаев простился с Савиновым, и мы тоже поехали в полк. По дороге мы остановились перекусить у огромной копны сена. Над степью крутились немецкие разведчики, и по ним отовсюду стреляли из пулеметов и винтовок.

Мелехов достал чемоданчик с продуктами. Водитель, человек лет сорока, семейный, недавно мобилизованный в армию, шофер первого класса, был, как я сразу почувствовал, на ножах с адъютантом. Будучи, в сущности, хорошим парнем, Мелехов никак не мог освоиться с той властью, которая оказалась у него в руках в качестве адъютанта, и невыносимо придирался к шоферу. Николаев сидел в стороне, слушал и морщился. Вдруг Мелехов сказал шоферу что-то обидное. Шофер огрызнулся, но при этом расстроился так, что у него задрожали губы. Я посмотрел на Николаева, мне было интересно, как он поступит.

Николаев сказал:

– Ну что ж, давайте кушать.

Шофер отошел в сторону.

– А вы? – сказал Николаев. – Идите кушать.

– Нет, спасибо, – сказал тот, с трудом сдерживая слезы обиды. – Не хочу кушать, не могу.

– Почему же вы со мной не можете кушать?

– Я с вами могу, я с ним не хочу, – показал шофер на адъютанта.

– Тут я хозяин, – сказал Николаев. – Стол мой, и, раз я вас зову, давайте уж кушать.

Были в его словах какая-то простота, душевность. Видимо, он сразу решил для себя: либо его разговор с человеком есть приказание, есть разговор начальника с подчиненным, либо для него все люди – братья. Именно так, в такой вот терминологии – братья, братки. Если он не приказывал, то все люди были для него одинаковы. Ему не могло быть все равно, станет ли с ним кушать шофер. Если бы тот все-таки отказался, он бы принял это за обиду для себя. Не как начальник, а как человек.

Перекусив, мы поехали дальше и, не заезжая в штаб полка, добрались до переднего края.

Крошечная глиняная деревушка была оставлена жителями. Впереди нее тянулись двойные ряды надолбов, несколько рядов колючей проволоки, были выкопаны противотанковые рвы. За ними, очевидно, шли минные поля. Слева и справа к перешейку подходил Сиваш – Гнилое море. Вперед уходила железнодорожная насыпь. От нее до воды в обе стороны оставалось примерно по километру. Но все это было перерыто окопами и перекрыто заграждениями. Единственным свободным от заграждений и от минных полей местом для нашего предстоящего наступления оставались эта железнодорожная насыпь и непосредственно примыкавшая

к ней полоса отчуждения – кусок земли шириной метров в сорок, может быть, даже тридцать. Вдали, километрах в двух с половиной, виднелась станция Сальково с высоким белым элеватором. Было хорошо видно, что на станции стоит состав платформ с грузовиками.

Начало наступления на Сальково было назначено на шесть часов. Но в шесть часов никаких признаков наступления не замечалось. И в половине седьмого, и в семь тоже. Мы прикорнули на травке около крайнего домика деревни. Пробуя взятый с собой фотоаппарат, я сделал несколько снимков. Пошел вперед к надолбам и проволочным заграждениям и сфотографировал их в нескольких ракурсах. Выглядели они довольно внушительно.

В четверть восьмого у нас за спиной началась артиллерийская канонада, и сразу же впереди, над Сальковым, вздыбилась земля. В просветах между разрывами в бинокль было видно, как по дороге, которая вела от Салькова в тыл к немцам, шли машины. Они останавливались, с них соскакивали люди. Наша артиллерия продолжала бить. Самым заметным ориентиром была башня элеватора, и вокруг нее ложилось особенно много снарядов. В конце концов снаряд попал прямо в нее. Башня загорелась. Потом в нее попал еще один снаряд, и она рухнула.

После начала артиллерийского огня левей нас, вдоль насыпи, стали двигаться силуэты людей. Их шло много, цепочкой. Очевидно, это и был тот батальон, которому предстояло атаковать Сальково.

Начинало заметно темнеть. Николаев ругался, что из-за опоздания с началом наступления совершенно необстрелянных людей фактически посылают в ночной бой. И мне показалось, что вот сейчас он пойдет и отменит все это, раз он с этим не согласен, потому что отменить это вполне в его власти. Но он вскинул на плечо карабин и, кивнув мне и Мелехову, сказал:

– Пойдем посмотрим, как там батальон будет воевать. А то люди необстрелянные, ночь на носу, как бы чего не вышло.

Мы двинулись к насыпи. Когда мы дошли до нее, почти совсем стемнело. Часть батальона впереди втянулась на насыпь, остальные шли сзади нас. В темноте уже надвигавшейся ночи со стороны Салькова начали бить немецкие пулеметы. Пожалуй, я впервые так близко видел ночью полет трассирующих пуль и вообще весь фейерверк ночного боя. Сложность заключалась в том, что у нас почти не было свободного пространства для наступления на Сальково. Кругом, и справа и слева, все было загорожено и заминировано. Правда, с двух сторон насыпи были глубокие кюветы, по которым можно было почти безопасно продвигаться, но беда состояла в том, что и здесь тоже была заранее поставлена система заграждений, рассчитанная на то, чтобы помешать противнику продвигаться в нашу сторону таким же путем, которым сейчас мы продвигались в его сторону. Проволочные заграждения, надолбы и рогатки то с одной, то с другой стороны пересекали кюветы и подходили вплотную к самой насыпи. В этих местах – а их на том отрезке, который я прошел, было четыре – приходилось подниматься из кювета, переваливать через насыпь, спускаться в противоположный кювет и идти по нему до следующего заграждения, потом снова подниматься на насыпь, снова переваливать обратно в этот кювет и так далее.

Пройдя с полкилометра, мы остановились и прилегли в кювете. Было уже почти совсем темно. Нас догнала шедшая сзади рота. Трассы пуль протянулись прямо над головами, сзади гремела артиллерия, впереди все ревели и рвалось. Люди шли, может быть, излишне пригибаясь, но, в общем, хорошо, быстро, почти не залегая.

Вместе с мужчинами шли девушки-санинструкторы. Перед глазами так и стоит одна из них – высокая, ловко схваченная ремнем, с висящей на плече сумкой. Она идет впереди пригибающихся санитаров, идет прямо, и мне кажется, что это именно она их ведет. Может быть, их, а может быть, и всю роту.

Здесь мы встретили комиссара дивизии. Николаев спросил у него, есть ли у него связь с командиром дивизии, со штабом и как он оценивает обстановку. Комиссар дивизии сказал, что пункт связи находится метрах в трехстах сзади. Николаев приказал ему связаться со шта-

бом дивизии и передать командиру дивизии или начальнику штаба, что он считает, что из-за опоздания со сроком начала наступления посылать сейчас необстрелянных людей в ночной бой нецелесообразно. Получив приказание, комиссар пошел обратно, на пункт связи. Он шел как-то странно, как пьяный, подаваясь то влево, то вправо.

– Что с ним? – спросил Николаев, проследив за комиссаром глазами.

Находившийся с нами штабной командир сказал, что у комиссара какая-то болезнь, вроде куриной слепоты. Он ничего не видит в темноте, но не хочет этого показывать и сердится, когда ему об этом говорят.

– Я пойду за ним незаметно, чтобы он не сбился, – сказал командир.

Несколько минут мы лежали под насыпью. У нас на глазах люди перебежали через нее.

– Ну что ж, – сказал Николаев, – пойдем.

Мы тоже перевалили через насыпь. Люди кругом нервничали, волновались. Но у Николаева была какая-то такая повадка, что с ним рядом становилось спокойно. Я только потом сообразил, что мы в тот вечер были в довольно опасном месте. А тогда мне казалось, что мы находимся именно там, где нужно, так вел себя Николаев и такое чувство умел внушить окружающим.

Перевалили через насыпь. Кто-то закричал, кого-то ранило. Потом опять пошли по кювету, теперь уже по левому. Навстречу нам пронесли несколько носилок с ранеными. Потом наткнулись на убитых. Потом опять пришлось переваливать через насыпь обратно в правый кювет. Немцы видели перескакивавшие силуэты. Едва мы успели перескочить, как сразу же красная полоса очередей пролетела над насыпью. Мы снова пошли по правому кювету. Впереди оказалось еще одно сплошное заграждение из железных рогаток. Пришлось снова перелезть и опять идти вперед.

Вскоре рядом с нами оказались командир передовой роты и комбат. Теперь была уже полная тьма. Трудно было разобраться, сколько оставалось до Салькова, но, судя по трассам немецких пулеметов, до первых домов станции теперь было не больше трехсот метров. Из этих домов и отовсюду кругом немцы вели сплошной заградительный огонь из пулеметов и автоматов. Вскоре начали бить немецкие минометы. Но они били не по нас, а куда-то дальше, в тыл, левее и правее насыпи. Должно быть, немцы боялись, что мы будем наступать на станцию через какие-то неизвестные им проходы в заграждениях.

По настроению людей кругом нас чувствовалось, что это их первый бой, что, совсем еще не обстрелянные, они, в сущности, не знают, что делать, хотя готовы сделать все, что им прикажут.

Было очевидно, что идти с ними сейчас на Сальково – значит рисковать батальоном без всякой реальной надежды встретиться в эту глухую ночь с нашим другим батальоном, оставшимся где-то там, позади немцев, и, вообще говоря, неизвестно куда двинувшимся после этого, потому что никакой связи с ним не было: Сальково выходило за пределы нашей системы укреплений на Чонгарском перешейке.

Я почувствовал, что Николаев хорошо понимает всю эту обстановку, но почему-то не хочет принимать решений. Как я уже потом понял из его дальнейшего поведения, он считал неправильным самому непосредственно вмешиваться в решения командования при отсутствии абсолютно критической обстановки. Так он считал с точки зрения комиссарских принципов и комиссарской этики, как он их понимал. А по складу своей души, когда было тяжело и когда ему казалось, что бойцам плохо и что они чего-то не понимают и чего-то боятся, то для себя лично он находил простое решение: быть там, где тяжело, сидеть вместе с этими бойцами или идти вместе с ними. Необходимость поступать так он относил в первую очередь к себе и во вторую – к тем командирам, которые поставили своих бойцов в то или иное трудное положение, и считал, что командира, имеющего привычку совершать нелепости и отдавать неоправданные

приказания, лучше всего лечить от этой привычки, поставив его самого в те условия, в которых находятся люди, выполняющие это его приказание.

Мы присели на корточки у железных рогаток рядом с командиром батальона и командиром роты. Докладывая Николаеву обстановку, командир батальона, по-моему, бывший в полной неуверенности насчет того, что происходит и где у него кто находится, однако, с аффектацией отчеканивая каждое слово, говорил, что вот сейчас такая-то его рота повернет туда-то, такой-то взвод развернется там-то, тот-то будет обходить слева, тот-то справа, и так далее и тому подобное. Хотя было совершенно ясно, что в такой темноте все эти заранее расписанные обходы и маневры могут закончиться тем, что свои перестреляют своих, не нанеся ущерба немцам.

Николаев сидел рядом с командиром батальона. Он, видимо, тянул время, ожидая, что командир дивизии вот-вот пришлет приказ отменить не вовремя начатое наступление. Мне казалось, что он ждет именно этого, а если не дождется, то сам прикажет приостановить действия.

Через несколько минут к нам пришел задохнувшийся штабной командир, принесший приказ командира дивизии отменить атаку на Сальково и отходить. Этот человек, видимо, так долго перебежал под огнем, что и здесь, в кювете, у железных рогаток, где люди спокойно сидели и стояли, он все еще пригибался. Николаев, повернувшись, пошел обратно. Теперь он считал, что ему больше нечего здесь делать.

Бой затихал. Немцы стреляли реже, только кое-где вспыхивали пулеметные трассы. Николаев для скорости, чтобы не перебираться из кювета в кювет, пошел обратно по шпалам. Пришлось идти вслед за ним. Через полкилометра мы перегнали группу людей – четверо бойцов несли на шинели убитого лейтенанта. В этих черных фигурах, идущих по насыпи и несущих на шинели командира, было что-то напомнившее мне «Щорса» Довженко.

Мы добрались до деревеньки, сели в машину и доехали до штаба полка, в который не заезжали по дороге сюда. Там Николаев сделал вид, что он только что приехал и еще не был впереди. Командир полка бодро доложил ему, что наступление на Сальково продолжается. Видимо, командир дивизии передал приказ об отмене атаки, минуя командира полка, непосредственно в батальон, а командир полка еще не удосужился связаться со своим батальоном, не знал, что там происходит, сам не позаботился отправиться туда и поэтому отрапортовал начальству то, что должно было сейчас происходить по его предварительному плану.

Николаев внимательно посмотрел на него и, не повышая голоса, сказал несколько слов со своей обычной – кажется, я наконец подобрал для нее точное выражение – грустной язвительностью, – что он только что был там, под Сальковым, что все, что говорит командир полка, совершенно не соответствует действительности, а для того, чтобы командир полка выяснил, что там впереди происходит на самом деле, ему надо пойти туда, а не сидеть здесь.

В штаб дивизии мы вернулись уже за полночь. Здесь нас встретил генерал Савинов. Он все признавал: что не вовремя наступали, что опоздали, что не дошли, что теперь отходим обратно, – но все это в его устах звучало так, словно так оно и должно было быть, что ничего другого и не могло произойти. Зато когда он повез Николаева на ночлег в деревню, то здесь проявил величайшую организованность.

Николаев ел нехотя, морщась. Кажется, ему хотелось только одного – поскорее лечь спать, только бы не говорить ни одной лишней минуты с этим не нравившимся ему человеком. Наскоро перекусив, перед тем как идти спать, он спросил Савинова, как обстоят дела на Арабатской стрелке. Тот сказал, что недавно ходили слухи, что на Арабатскую стрелку якобы переправились немцы, но что, по предварительным сведениям, все эти слухи не соответствуют действительности, хотя в дальнейшем это надо уточнить окончательно.

Мы проспали несколько часов в какой-то халупе, и утром Савинов вторично доложил Николаеву об Арабатской стрелке, что там все в порядке, что слухи о немцах оказались лож-

ными; туда выехала группа работников политотдела армии, а он отправил полковника, командира своего правофлангового полка. Батальон полка стоит на самой стрелке, и вообще все в порядке.

Николаев посоветовал командиру дивизии поехать по направлению к Салькову, посмотреть лично, что у него там делается в полку.

– А вы? – спросил Савинов.

– А я, раз у вас все в порядке, поеду на Арабатскую стрелку, посмотрю, какой у вас там порядок.

Он сказал это с той неуловимой иронией, к которой я уже привык за проведенный с ним день и которая означала, что он лично ни на грош не верит в то, о чем ему только что докладывали.

Через пятнадцать минут мы выехали и, изрядно поколесив и раза два вытащив машину из солончаков, добрались до переправы. Отсюда на Арабатскую стрелку, до которой было километров семь, шли парусные и моторные лодки. Сейчас туда переправляли роту. Вода была уже довольно холодная, но генические рыбаки, эвакуировавшиеся сюда, в Крым, причаливали лодки к берегу, стоя по пояс в воде. Погрузкой роты распоряжался пожилой полковник. Помнится, фамилия его была Киладзе.

Когда появился Николаев, полковник, подобрав живот, вытянулся и, почему-то – я только потом понял, почему – задыхаясь и волнуясь, доложил Николаеву то же самое, что недавно докладывал Савинов: что на Арабатской стрелке все в порядке, что он отправляет сейчас туда две роты и сам едет туда же.

– А правда ли, что туда вчера переправились немцы? – спросил Николаев.

Полковник сказал, что нет, что там все укреплено, что это неправда.

– А зачем вы тогда переправляете туда еще две роты и едете сами?

– А я еду, – отвечал полковник, – для того, чтобы все было обеспечено.

– Так у вас же там и так все обеспечено, – сказал Николаев.

– Да, но я еще хочу обеспечить.

Николаев усмехнулся сердито и недоверчиво и потребовал, чтобы ему дали моторку, он поедет на тот берег сам. Мы оставили машину и влезли в моторку в сопровождении полковника. Минут через сорок мы высадились на другом, таком же пологом, как и этот, берегу.

У переправы грелись на солнышке минометчики. Тут же, чуть поодаль, отдыхал еще какой-то взвод. Обстановка была совершенно мирная. Еще более мирный вид придавали ей рыбаки, перевозившие нас сюда. Здоровые, молодые ребята с закатанными по колено мокрыми штанами. По их разговору, повадкам, обращению казалось, что все это происходит на рыбалке, и трудно было, глядя на них, поверить, что эти люди всего три дня назад угнали свои лодки от немцев, неожиданно ворвавшихся в Геническ, ушли из родного города, оставив там жен и детей.

В этом месте Арабатская стрелка представляет собою длинную узкую косу шириной где в полтора, а где в два километра, с большим выступом, километров на семь-восемь, к западу, по направлению к Чонгарскому полуострову. На этот выступ мы и переправились. Теперь, если бы мы хотели добраться до конца стрелки, до места переправы на Геническ, нам предстояло бы сделать километров двенадцать-четырнадцать. Сначала мы пошли пешком, но километра через два появился грузовик, и мы сели на него. Этот грузовик вела чуть не раздавившая нас, выскочив нам навстречу и затормозив перед самым нашим носом, девчонка в голубом выцветшем платье и белой косынке.

Было еще довольно рано, но день выдался жаркий, сухой, сильно палило солнце. На Арабатской стрелке стояла тишина. Ни одного выстрела. Вообще ни одного звука. Места пустынные. По дороге встретился всего один хуторок из трех глинобитных домиков. Говорили, что где-то вправо есть еще деревни, но я их не видел.

Километров через пять, там, где выступ переходил в самую косу, мы обнаружили командный пункт батальона. Здесь и началась та неожиданная катавасия, которая заставила меня, наверно, на всю жизнь запомнить этот день.

Во-первых, выяснилось, к большому удивлению Николаева, да и к моему тоже, что прекрасно зарывшийся в землю штаб батальона, защищавшего Арабатскую стрелку, расположился в девяти километрах от своей передней роты и в четырех километрах позади позиций тяжелой морской артиллерии. Во-вторых, в штабе творилась какая-то несусветица, и, когда Николаев потребовал к себе командира батальона, его не оказалось. Николаев спросил, где же командир батальона. Ему ответили, что командир батальона впереди.

– Что значит впереди? Где впереди? Дайте его к телефону.

Ему сказали, что связи с командиром батальона нет.

– Когда же он ушел вперед?

– Вчера вечером.

– И с тех пор нет связи?

– Да. То есть нет.

В общем, в конце концов выяснилось, что командир батальона пропал без вести, причем об этом боялись доложить.

– Где же он пропал?

Дальше, несмотря на весь трагизм ситуации, все происходило в точности по песенке «Все хорошо, прекрасная маркиза». Выяснилось, что командир батальона пропал без вести потому, что он пошел вперед, в роту. А в роту он пошел потому, что там ночью открылась стрельба. А стрельбу открыли немцы, которые высадились на косе, и говорят, что со всей первой ротой после этого случилось что-то неладное.

– А что сейчас?

– А сейчас неизвестно что.

Старший лейтенант, исполнявший обязанности начальника штаба батальона, только пожимал плечами: он оставлен здесь ждать, и он ждет. Он говорил все это с видом человека, которого оставили посторожить квартиру, пока не вернутся хозяева.

Николаев вдруг побледнел и спросил:

– А почему вы выбрали место для командного пункта батальона здесь? Сами выбрали?

Старший лейтенант сказал, что нет, он выбирал это место с командиром полка.

– А почему здесь? – спросил Николаев у Киладзе.

Тот, заикаясь, сказал, что он выбрал это место здесь потому, что отсюда есть видимость, все хорошо видно и вообще это самая ближайшая горка.

– Вот я поеду сейчас вперед, – сказал Николаев, – а когда вернусь и увижу, что ваш штаб батальона по-прежнему находится на этой ближайшей горке, то я вас расстреляю. Понимаете? – Это он сказал старшему лейтенанту. – А вы, – обратился он к Киладзе, – доложите мне, что у вас тут происходило вчера вечером, сегодня ночью и сегодня утром и почему вы до сих пор не сообщили мне о том, что происходит. Вы сами там были?

Киладзе ответил, что он как раз туда собирается. А не сообщил потому, что рассчитывал ликвидировать это своими силами.

– Что ликвидировать? – вдруг закричал Николаев. – Вы даже там не были! Вы даже не знаете, что там ликвидировать! Есть ли там немцы, нет ли, сколько их, живы ли у вас там люди или не живы, ничего не знаете!

Пытаясь сохранить остатки достоинства, Киладзе сказал, что раз есть приказ не пустить врага на крымскую землю, то он этот приказ выполнит, и, какие бы там немцы ни оказались впереди, он пойдет и выгонит их.

Николаев смерил его взглядом и, помолчав, сказал:

– Хорошо, потом поговорим. Поедете со мной.

Этот разговор запомнился мне во всех подробностях, показав, что среди командиров, к несчастью, существуют люди, которые боятся начальства больше, чем противника, и совершенно лишены чувства гражданского мужества.

Как потом выяснилось, Савинов знал, что на Арабатской стрелке не все в порядке, и еще ночью потребовал, чтобы Киладзе к утру исправил там положение. Его волновало, что Николаев может завтра утром поехать туда и узнать об этом.

Киладзе тоже готов был сейчас говорить что угодно, только бы не сказать тяжелой правды, которой, кстати, во всей ее наготе он и сам не знал. Так получилась цепочка, та самая, из-за которой иногда, приезжая в штаб какой-нибудь части, начальство получает ложную информацию и продолжает считать, что все в порядке, когда на самом деле уже случилась беда, вполне поправимая час назад и уже не поправимая часом позже.

В данном случае Киладзе – я еще расскажу об этом – оказался просто-напросто трусом. Но случалось, что такие люди, лишённые гражданского мужества и робеющие перед начальством, бывали в то же время лично безукоризненно храбрыми людьми и не моргнув глазом потом расплачивались своей жизнью только за то, что при встрече с начальством побоялись сказать правду.

Вскоре нам встретилась только что прибывшая группа работников политотдела армии в несколько человек.

Николаев сел в кабину машины вместе с девушкой – Пашей Анощенко, а мы все сели в кузов. Когда мы уже проехали с километр, то вдруг заметили, что Киладзе нет с нами. Адъютант остановил машину и сказал об этом Николаеву.

– Черт с ним, – сказал Николаев. – Поехали. – И побледнел так, что я понял: полковнику теперь несдобровать.

Мы проехали еще километра три и, миновав деревню Геническая Горка, выехали на самую косу. Чтобы ясно представить себе дальнейшее, надо понять, что это за место. Панорама такая: прямо впереди, на горке, расположен Геничesk; он спускается к морю террасами. Дальше, ближе к нам, метров двести воды, через которую был мост, по тогдашним нашим предположениям, взорванный, а на самом деле только подорванный и опустившийся под воду. Еще ближе к нам шесть километров песчаной косы, вся она гораздо ниже Геническа, так что ближайшие к Геническу три километра ее целиком просматриваются оттуда сверху, почти как с птичьего полета. Примерно в трех километрах от пролива на нашей стороне десяток домов, бывший пионерский лагерь, и от него к нам в тыл идет насыпь узкоколейки. Прямо у этой насыпи в пяти километрах от пролива стоят четыре дальнобойных морских орудия на тумбах. В общем, мы внизу, Геничesk наверху, а за пионерским лагерем вся коса как на ладони; открытое место длиной в три и шириной в полтора километра.

Проехав деревню Геническая Горка и не доехав еще с километр до позиции морских орудий, за которыми еще дальше были ряды проволочных заграждений, надолбов, противотанковых рвов, мы увидели странную картину. Вдоль насыпи позади своей дальнобойной батареи наступала рота пехоты. Она наступала по всем правилам, рассредоточившись, люди то залегали, то вставали и перебежками катили за собой пулеметы. Все это имело такой вид, словно делается под огнем противника, до которого осталось несколько сот метров. Между тем кругом не было слышно ни одного выстрела. Впереди стояли свои же морские орудия, а до немцев оставалось пять-шесть километров.

Подозвав к себе командира роты, Николаев спросил:

– Что они делают?

Командир роты ответил, что они наступают.

– Куда?

– Вперед. Там немцы.

– Где немцы?

Командир наугад ткнул пальцем вперед, примерно туда, где стояли наши морские орудия. – Немцы не там, – сказал Николаев, – там наша морская батарея. А немцы вон где, – он показал рукой на Геническ. – Там и немного ближе. Вы вот так до них и будете наступать пять километров, а?

Командир роты сказал, что ему приказано развернуться в боевые порядки и наступать. А где немцы – за пять километров или за километр, – ему не сказали. Ему только сказали, что наших впереди никого нет.

Николаев остановил роту, приказал задержать и собрать все находившиеся поблизости грузовики, посадить туда красноармейцев и везти на грузовиках до тех пор, пока немцы не начнут стрелять из Геническа. И тогда уж рассредоточиться и идти в наступление. Он приказал также ехавшим с нами политработникам, чтобы они двигались вместе с ротой, а сам опять сел в нашу полуторку, в которой были я, Мелехов, какой-то лейтенант из штаба полка и неизвестно откуда к этому времени появившийся комиссар полка. Когда он появился, Николаев повернулся к нему было с угрожающим видом, но потом вдруг махнул рукой и не сказал ни слова. Может быть, решил разговаривать сразу с обоими – и с ним, и с командиром полка.

Никогда я еще не видел зрелища более нелепого, чем эта рота, наступавшая в боевых порядках в тылу, позади собственной артиллерии. Мне напомнило это лагерь военных корреспондентов в Кубинке, где мы были перед войной. Проводя там двусторонние занятия в поле, мы иногда, наверное, выглядели именно так, но здесь, на войне, это представлялось совершенной несуразностью.

А между тем сами бойцы в этом несколько не были виноваты. Через какой-нибудь час я увидел своими глазами, как они шли под огнем, и шли, в общем, хорошо. Не так уж виноват был и командир роты, которому сказали, что впереди никого нет, и даже не позаботились предупредить его, что там стоит наша артиллерия. Он тоже через час храбро шел впереди своей роты под настоящим огнем. Словом, вся эта нелепость возникла из-за отсутствия разведки, из-за нежелания командира полка своими глазами увидеть, что делается у него впереди.

Мы двинулись на машине вперед, не дожидаясь, пока красноармейцы погрузятся и догонят нас. Тех, что не поместятся на грузовиках, Николаев велел построить и вести строем, да побыстрей, чередуя шаг с бегом.

У позиции морских артиллеристов мы на несколько минут задержались. Политрук батареи доложил Николаеву – это, кстати сказать, был первый человек за утро, четко и ясно доживший обстановку, – что вчера вечером, когда стемнело, впереди раздалась беспорядочная ружейная, пулеметная и автоматная стрельба сначала в одном месте, потом в другом, потом часа через два стрельба затихла. Куда ему бить из орудий, он не знал. Еще два часа спустя, когда уже чуть-чуть рассвело, он увидел, что немцы вошли в пионерский лагерь, заняли его и двинутся дальше к его батарее. Видя, что впереди нет никакого пехотного прикрытия, он отдал распоряжение о подготовке к взрыву орудий, а сам открыл огонь прямой наводкой. Было еще полутемно. Результаты было видно плохо, орудия продолжали бить, часть прислуги залегла с винтовками в руках впереди орудий. Когда рассвело, выяснилось, что немцев в поле видимости батареи нет. Очевидно, они отступили.

Из рассказа политрука стало ясно, что с передовой ротой, очевидно, случилась ночью катастрофа. Есть ли немцы на косе сейчас, утром, было неизвестно, но ночью они были здесь. А рота, находившаяся впереди, после этой ночи не подавала никаких признаков жизни.

Политрук доложил, что немцы перебросили, очевидно, на этот берег артиллерию, потому что они стреляли по батарее из минометов и малокалиберных орудий.

– Переправили артиллерию? – переспросил Николаев и усмехнулся. – У тебя там были впереди орудия? – спросил он у комиссара полка.

– Было два противотанковых орудия, – с готовностью ответил комиссар.

– Вот из них немцы и стреляли, из твоих орудий, – зло и убежденно сказал Николаев. – Незачем было им, немцам, сюда свои орудия переправлять, когда на этой стороне можно наши взять.

И в этих словах его была такая яростная и горькая ирония глубоко страдающего человека, что мне стало не по себе...

Я пишу в дневнике о морской батарее, которая спасла положение и остановила немцев на Арабатской стрелке в ночь с 16 на 17 сентября.

Теперь я установил по документам, что этой 127-й морской батареей командовал тогда лейтенант Василий Назарович Ковшов, шахтер, потом краснофлотец, командир, к началу войны артиллерийский офицер. Впоследствии, в ноябре 1942 года, он, судя по документам, пропал без вести.

Из донесений о действиях батареи за 16 сентября видно, что минометным огнем немцев на ней было ранено одиннадцать краснофлотцев. В рапорте, написанном «во исполнение личного приказа члена Военного совета 51-й армии корпусного комиссара товарища Николаева» «о награждении отличившихся в этом бою артиллеристов», упоминается и фамилия комиссара батареи Н.И. Вейцмана, того самого политрука, который первым в тот день ясно и четко доложил Николаеву обстановку.

Дважды раненный и награжденный орденом боевого Красного Знамени за бои в Севастополе, Н.И. Вейцман довоевал войну до конца и сейчас работает директором одного из заводов в Приволжье. И я рад был увидеть его живого и здорового через тридцать четыре года после событий на Арабатской стрелке.

Возвращаюсь к дневнику

...Мы доехали до пионерского лагеря и вылезли из машины. По-прежнему тихо, ни одного выстрела. Дальше совершенно открытая местность. Только в километре виднелись две какие-то халупы и несколько деревьев. Пионерлагерь был основательно разрушен огнем нашей морской батареи. Сойдя с полуторки, мы стали осматривать это место, где, по словам политрука батареи, ночью были немцы.

Через несколько минут мы действительно наткнулись на один мотоцикл, потом на другой, потом еще на несколько разбитых мотоциклов с колясками. Тут же лежали трупы немцев, так же, как и мотоциклы, сильно изуродованные крупными осколками тяжелых снарядов. Рядом валялись носильные вещи, безделушки, видимо, взятые на память о походе в Россию. Все это было разворочено и рассыпано по земле. Тут же валялось и другое, уже не трофейное, а немецкое барахло, в том числе несколько номеров «Фелькишер беобахтер». Мы стали осматривать дома пионерлагеря. В одном из них сени были разворочены прямым попаданием снаряда. В углу сеней стояла кадка; в ней солились большие куски свинины. Кадка была тоже разбита, и огромные розовые куски мяса были разбросаны по полу. А рядом, привалясь к обломкам кадки, полусидел мертвый обер-лейтенант. У него было совершенно целое лицо, бледное и красивое, пепельные волосы и распахнутые настежь живот и грудь, словно они были разрезаны ножом на вскрытии.

Оставив лагерь, мы в полной тишине проехали еще километр, отделявший нас от последней купы деревьев с двумя домиками. Здесь мы окончательно слезли с полуторки. Анощенко просила ехать с ней и дальше, но Николаев, улыбнувшись, потому что не улыбаться, разговаривая с ней, было невозможно, приказал ей ехать обратно в пионерлагерь и ждать там нашего возвращения.

Полуторка уехала, а мы остались.

В двухстах метрах от домиков шла линия окопов, в которых, по словам комиссара полка, сидел один из взводов их передовой роты. Мы пошли к этим окопам. Голая земля с редкой

травой, песчаная, осыпаясь под ногами. Море справа – в ста метрах, слева – километрах в полутора. Хотя солнца не было, день был душный, море казалось серым и слегка шумело.

Через несколько минут мы дошли до окопов, на всякий случай взяв на изготовку винтовки, хотя мне лично казалось, что немцев на косе сейчас нет и что вообще мы идем по какой-то пустыне.

Воспоминание об этих окопах и о том, как мы их увидели, связано у меня с тяжелым чувством. Это чувство страха, которое рождается у человека, когда он попадает куда-то, где все мертвы и нет никого, кто бы мог рассказать о том, что здесь произошло. Все мертвы, все молчат, остается только догадываться.

Очевидно, в этих окопах находилось человек пятьдесят, судя по количеству разбросанных кругом противогазов, гранат и винтовок. Но трупов было гораздо меньше – около десятка. В самих окопах ни одного трупа, все на открытом месте.

Николаев стоял над окопами и внимательно разглядывал все подробности. Должно быть, ему хотелось восстановить картину боя по тому, как лежали винтовки, где лежали убитые, как были брошены противогазы и холщовые мешки с гранатами. Осмотрев все это, он молча походил по краю окопов, потом оглянулся назад. Грузовиков с красноармейцами еще не было.

Он повернулся ко мне и, показывая на мертвых, тихо сказал:

– Не вижу, чтобы дрались. Если бы дрались, были бы в окопах. Побежали! Одних перебили, как кур, а других забрали с собой в плен. Высадились, перебили и забрали, – повторил он и сжал пальцы так, что они побелели. Он был безжалостен к мертвым, и в то же время в нем жила такая горькая обида за нелепую смерть всех этих людей, что, казалось, он готов был заплакать. – А немцев было немного, наверно, меньше, чем их. Высадились, постреляли, а наши побежали. Кого убили, кого в плен, и все в порядке, – говорил Николаев с тем особенным раздражительным самобичеванием, которое есть в нашей русской натуре.

Возле одного из окопов мы нашли старшего лейтенанта. Он лежал навзничь. Карманы у него были вывернуты. Мальчишеское лицо запрокинуто, глаза глядели прямо вверх, в небо.

– Кто это? – спросил Николаев. – Командир роты?

Но ему никто не ответил.

И я лишний раз вспомнил об одной из наших больших бед – о том, как у нас часто даже не знают фамилий убитых.

– Мелехов, – сказал Николаев, – посмотрите, какое у него ранение, пулевое или штыком?

Мелехов нагнулся, приподнял на покойнике заскорузлую от крови рубашку, взглянул и, подняв голову, сказал:

– Штыком.

– Вот этот дрался, – сказал Николаев, еще раз поглядев на мертвого.

Видимо, ему очень хотелось, чтобы кто-то тут прошедшей страшной ночью дрался, чтобы хоть кто-то убивал здесь немцев. Он приказал посмотреть, нет ли где-нибудь в окопах или вокруг них немецких трупов. Их не оказалось.

– Или утащили с собой, – сказал он, – или не было. Может, и так. Паника, паника. Что с нами делает паника! Сами себя люди не узнают.

Мы прошли еще сотню шагов. На песчаной отмели лежало еще три трупа. Вместе лежали двое, их признал комиссар полка, санинструктор и политрук роты. Должно быть, санинструктор полз, таща на себе политрука, у которого были перебиты, наверно, автоматной очередью обе ноги. Так их и убили, одного на другом, когда они ползли. А рядом лежал третий труп. На нем остались только красноармейские ботинки. Голый, черный, обугленный, кожа от жары кое-где лопнула, а в других местах натянулась. Первая мысль была, что немцы раздели его и сожгли, но потом, взглядевшись, я понял, что его не раздевали, одежда сгорела на нем.

К этому времени и те бойцы, что доехали до пионерлагеря на грузовиках, и те, что добились до него пешком, стали группками подходить к нам. Увидев, что рота подходит, Нико-

лаев послал налево одного из политрабтников и лейтенанта, а сам вместе с нами пошел дальше правой стороной косы.

Метров через восемьсот все еще в полной тишине мы обнаружили два сорокапятимиллиметровых орудия, повернутых дулами против нас. Замки у них были разбиты.

– Ваши пушки? – спросил Николаев у комиссара полка и, не дожидаясь ответа, добавил: – Вот из них немцы и стреляли. А потом отошли и взорвали.

Около пушек было отрыто несколько окопчиков в четверть человеческого роста.

– Говорили, готовили оборону, – сказал Николаев, – окопчики лень было вырыть. Ну что, как идут? – оглянулся он назад.

Рота подходила. Слева она была уже на одном уровне с нами, справа приближалась к нам. Когда первые бойцы поравнялись с нами, Николаев сказал:

– Ну, пойдём.

Мы пошли впереди бойцов. Теперь до конца Арабатской стрелки, до передних наших окопов, оставался, наверно, километр с чем-то.

Едва мы двинулись, как немцы сразу открыли по стрелке минометный огонь. Это так внезапно нарушило тишину утра, к которой мы уже привыкли, что мы бросились на землю не столько из чувства самосохранения, но и от неожиданности. Этот первый залп был самым страшным. Мины легли совершенно точно перед нами целой полосой, близко так, что нас обдало землей. Должно быть, немцы давно заметили нашу группу и заранее прицелились, тем более что оставшиеся в полусотне метров за нами орудия были прекрасным ориентиром.

Николаев быстро встал, отряхнулся и, не оборачиваясь, пошел вперед. Слева и справа от нас цепь тоже довольно быстро шла вперед. Все следующие восемьсот метров мы шли под минометным огнем.

Трудно даже восстановить то чувство, которое владело мной тогда. Во-первых, мне было страшно. Во-вторых, я думал, что вечером должен вернуться и я буду уже не здесь, и уже не будет этих мин – я буду в Симферополе. Все мои мысли не шли дальше этого вечера; он казался мне ближайшей целью моего существования. А третьим чувством было желание поскорей дойти до окопов, которые, как я знал, были впереди. Я не знал, есть ли там немцы или нет, но мне казалось: только бы дойти туда, перейти это открытое место! Мысль о том, что там, в окопах, немцы и что нам придется с ними столкнуться лицом к лицу, не вселяла никакого страха. Я боялся только этих рвущихся все время мин.

Рота была первый раз в бою, под огнем, и все больше бойцов ложились и дальше двигались только ползком или просто лежали, не вставая, прижавшись лицом к земле. Мне было так страшно, что, может быть, и я поступил бы так же, если бы не Николаев. Первый раз он лег от неожиданности на землю так же, как и все мы, но теперь безостановочно шел, не пригибаясь даже при сравнительно близких разрывах. Шел с таким видом, такой походкой, что казалось, идти вот так же, как и он, – это единственное, что возможно сейчас делать. Он шел зигзагами вдоль цепи, то влево, то вправо, мимо упавших и прижавшихся к земле людей.

Он неторопливо нагибался, толкая бойца в плечо, и говорил:

– Землячок, а землячок. Землячок! – и толкал сильнее.

Тот поднимал голову.

– Чего лежишь?

– Убьют.

– Ну что ж, убьют, на то и война. Вставай, вставай.

– Убьют.

– Вот я стою, ну и ты встань, не убьют. А лежать будешь, скорей убьют. На ходу-то трудней в нас попасть.

Примерно так, с разными вариантами, говорил он то одному, то другому. Но главное было, конечно, не в словах, а в том, что рядом с прижавшимся к земле человеком стоял другой

– спокойный, неторопливый, стоял во весь рост. И тот, у кого оставалась в душе хоть крупница самолюбия и чувства стыда, не мог не подняться и не встать рядом с Николаевым. А раз уже поднявшись, теперь он был зол на тех, кто еще продолжал лежать, и, чувствуя, что сам подвергается опасности, а другие рядом лежат, сердито кричал, чтобы они вставали, что они, в самом деле, лежат!

Примерно такое же чувство испытывал и я. Если бы не Николаев, я бы, возможно, тоже лежал, прижавшись к земле, потому что мне было страшно. Но Николаев шел во весь рост, спокойным голосом поднимал людей, и я тоже поднялся и тоже пошел, и у меня была злость на тех, кто еще лежит, и я так же, как другие поднявшиеся бойцы, орал на тех, что еще лежат, чтобы они вставали и шли. И они вставали, и шли, и орали на других. И так понемногу двигалась вся эта цепь необстрелянных людей, на ходу становившихся обстрелянными.

Впереди на косе было что-то вроде гребешка. Она немного сужалась и шла от этого гребешка к морю вправо и влево с заметным уклоном. Мы с Николаевым пошли по правой стороне. Окопы, до которых нам надо было добраться, были теперь уже метрах в двухстах или в ста пятидесяти. Вдруг минометный огонь прекратился и треснули первые пулеметные очереди. Пули прошуршали где-то близко – звук, знакомый еще по Халхин-Голу. Услышав это шуршание, я распластался на земле. Николаев тоже на секунду скорей присел, чем прилег. Я запомнил эту его позу. Он словно прислушивался к чему-то, а потом поднялся и быстро побежал вперед, к окопам. За ним побежали и мы.

Ударило еще несколько пулеметных очередей. Мне показалось, что немцы стреляют из окопов прямо в нас, но, когда мы добежали, оказалось, что те окопы, к которым мы выскочили, были пусты. По нас стреляли откуда-то слева, из-за гребешка, и спереди и сверху – из Геническа.

– Нет тут никого, – сказал Николаев, когда мы спрыгнули в окоп, и, сняв фуражку, вытер потный лоб платком. – Посидим, подождем, как там слева.

Большая часть окопов была налево за гребешком, а мы попали в крайний справа окоп, где никого не было. Слева еще стреляли, потом сразу все стихло. Из города тоже больше не били ни минометы, ни пулеметы.

К нам через гребешок, пригибаясь, прибежал и спрыгнул в окоп командир роты. Он сказал, что все окопы взяли и, кто там был, никого теперь нет, так он выразился о немцах.

– А наши убитые с ночи там лежат? – спросил Николаев.

– Лежат как будто, – сказал командир роты. – Сейчас разберемся. Что прикажете делать? – Закрепиться, – сказал Николаев. – Поправьте окопы, закрепитесь и сидите. Будете здесь сидеть, а другая рота подойдет, сзади вас будет. А пока сидите, какой бы ни был огонь. Сидите, и все!

Так я и не узнал ни тогда, ни потом, сколько было немцев в охранении слева от нас, в тех, других окопах, сколько их перебили и как все это произошло. Помню только, было обидное чувство оттого, что вот в этом окопе, в который вскочили мы, немцев не оказалось. Самым страшным казалось добежать до окопа, а встретиться с немцами здесь, в окопе, в последнюю секунду даже хотелось.

Очень хотелось пить. Мы выпили по глотку воды из фляги Мелехова. Было тихо. Немцы не стреляли. Николаев, присев на краю окопа, внимательно смотрел на Геническ.

– Да, – сказал он, недовольно присвистнув, – отсюда ничего им не сделаешь. А оттуда они все, что хотят, могут сделать. Придется идти назад. Надо распорядиться, чтобы по всей стрелке все в порядок привели, чтобы к темноте все в порядке было, а то опять панику устроят, как вчера.

Вдруг сзади по полю пронесся куда-то влево грузовик с прицепленным к нему полковым минометом.

– Вот хорошо, догадались.

Обратно машина проскочила уже порожняком. Немцы пустили по ней несколько мин, но они разорвались в стороне. Как потом выяснилось, миномет отвозила все та же оставленная нами в пионерлагере Паша Анощенко.

– Ну что ж, – сказал Николаев, посидев минут пять, – придется обратно идти, порядок наводить. Вы со мной пойдете, – сказал он комиссару полка, – а вы, – обратился он к старшему политруку из политотдела армии, – останетесь здесь. Сидите до ночи, а к ночи всему начальству придется тут быть. Ну-ка, дай еще глоток воды, – встав, сказал он Мелехову.

Я был рад, что мы возвращаемся. Сейчас, когда мы добрались до окопов, я почувствовал, какого натерпелся страха, и мне хотелось поскорей вернуться. Но комиссар полка вдруг, к моему удивлению, возразил:

– Товарищ корпусной комиссар, подождем здесь, пока темнеть не начнет.

– Это почему же? – спросил Николаев.

– Сейчас по нас бить начнут, как только пойдем, – ответил комиссар полка.

– Ничего не поделаешь, – сказал Николаев. – Начнут или не начнут, а нам тут сидеть нечего, надо во всем полку порядок наводить, так что придется идти.

Он отдал последние распоряжения старшему политруку из политотдела армии и командиру роты, потом вылез из окопа, и мы быстрым шагом пошли назад. Едва мы прошли метров тридцать, как засвистели пулеметные очереди. Мы легли. Уже прижавшись к земле, я понял, что по нас стреляет сразу несколько пулеметов. Совсем рядом шуршала трава, срезанная пулями. И так тянулось, как мне показалось, целую минуту. Как только затихло, Николаев поднялся и сказал:

– Пошли.

Мы вскочили вслед за ним и двинулись быстрым шагом. Вероятно, комиссар полка задержался, и, когда мы делали следующую пробежку, он еще продолжал лежать там, сзади. Потом снова ударили пулеметы, мы снова легли, опять переждали, вскочили, пошли, опять слышали пулеметы, опять легли. Комиссар полка отстал от нас, если можно так выразиться, на один перегон. А когда мы, лежа под следующими пулеметными очередями, обернулись, то увидели, что двое бойцов, выползшие из окопа, тащат ползком комиссара полка обратно в окоп. Очевидно, промедлив несколько секунд, он был ранен там, откуда мы успели перебежать. Потом выяснилось, что так оно и было. И ранение оказалось тяжелым – пуля попала в ногу, прошла через все тело и застряла в плече.

Еще несколько перебежек. Снова пулеметные очереди. Падать приходилось быстро, потому что траву кругом буквально резало, а я бежал с дополнительной нагрузкой: взял для Демьянова брошенный кем-то в окопе карабин; он давно просил достать ему карабин. Теперь, когда я уже взял этот карабин, мне не хотелось его бросать среди поля. Было как-то стыдно это делать после того, как я видел столько брошенных винтовок и осуждал за это людей. Приходилось теперь бежать, держа в левой руке свой полуавтомат, а в правой карабин, и так и плюхаться рыбкой, не выпуская их. Когда я в очередной раз особенно резко бросился на землю, Николаев, легший рядом со мной, повернул ко мне лицо и усмехнулся.

– Ловко падаете, – сказал он и повторил: – Ловко.

– А что?

– Да нет, ничего, правильно. Раз падать, так падать.

А немцы лупили по нас всюду. Уже позже, на спокойную голову, я понял, что главная опасность была на обратном пути, когда мы пошли вчетвером и немцы били исключительно и специально по нас.

Идти было очень тяжело, перебежать с двумя винтовками – тем более. Вдобавок ко всему я нашел четыре брошенных магазина от полуавтомата и засунул их по два в карманы брюк.

Мы еще раз легли. На этот раз очереди были особенно длинными.

Потом наступила пауза. Метров полтора мы шли, и по нас не стреляли. И вдруг треснуло сразу из нескольких пулеметов. Мы упали. Рядом фонтанчиками взлетал песок. Наверно, как я это уже потом, вспоминая, сообразил, немецкие пулеметчики заранее приготовились бить по этому рубежу и открыли огонь, когда мы подошли к нему. На этот раз стреляли долго, то один, то другой пулемет, длинными очередями. Одна из них взрыла песок под самым носом у Мелехова. Он пошарил в песке и вынул лежавшую там пулю.

– К самому носу подлетела, – сказал Мелехов, стараясь улыбнуться.

– Не обожгла? – не то всерьез, не то в шутку спросил Николаев.

– Нет.

– Тогда возьми на память.

Еще одна очередь. Меня сильно ударило в бедро. Я пощупал рукой карман брюк и вытащил обоймы. В штанах была дырка, одна обойма разворочена, а другая поцарапана. Не поднимая головы, я показал лежавшему бок о бок со мной Николаеву обойму.

– А не ранило ли? – спросил он.

Я потрогал ногу, она не болела. Стал смотреть, где же другая дырка в штанах. Раз пуля вошла, она должна была и выйти. Но другой дырки не было.

Наконец пулеметы замолчали. Мы снова поднялись и пошли, что-то мешало в сапоге.

– Мешает ступать, – сказал я. – Может, пуля провалилась?

– Вполне возможно, – сказал Николаев. – Вот дойдем до лагеря, переобуешься и посмотришь.

И в эту секунду – мы даже не услышали ни гула, ни свиста, это было скорей ощущение не звука даже, а самой силы удара – что-то рванулось рядом. Мы упали на землю. До сих пор не понимаю, как никого из нас не задело, просто повезло. Мина разорвалась на совершенно голом месте в каких-нибудь десяти метрах от нас. И едва она разорвалась, едва мы упали, как Николаев вскочил и крикнул:

– Скорей перебегайте, пока дым!

Мы перебежали метров сорок и легли. И сразу разорвалась следующая мина. На этот раз подальше.

– Левей, – сказал Николаев, – левей, к воде.

Мы добежали до самой воды и пошли по берегу.

– Теперь что слева, то не страшно, – сказал Николаев. – В воду попадет – не убьет.

И, словно торопясь подтвердить его слова, слева от нас, вздымая водяные столбы, у самого берега разорвалось еще две мины. Мы присели, а Николаев даже не пригнулся.

– Это же в воду, что вы пляшете? – сказал он.

Немцы провожали нас минометным огнем еще пятьсот метров. Разорвалось еще с десяток мин, но уже гораздо дальше от нас, чем первые две.

Наконец мы дошли до пионерлагеря. Не забуду чувства, с которым я зашел за первый дом. Из-за него не было видно Геническа. А значит, оттуда, из Геническа, не было видно меня. Я и сейчас помню это чувство. Дом был жиденький, мины с одинаковым успехом могли разорваться и перед ним и за ним, но чувство, что ты уже находишься не на голой земле, что тебя не видно сейчас, после всего пережитого, давало ощущение почти полного спокойствия и отдыха. Мне казалось, что я еще никогда не чувствовал себя в такой безопасности, как сейчас, стоя за этой хибаркой.

– Ну что же, где же машина? – спросил Николаев.

Стоявший у хибарки боец сказал:

– Товарищ водитель, которая там была, велела передать вам, если приедете, что она сейчас будет. Она ящик с минами поехала отвезти вот туда, налево, за бугор.

– Ну вот, теперь, значит, будем сидеть ждать ее, – сказал Николаев сердитым голосом, но по глазам его было видно, он очень доволен тем, что «товарищ водитель» повезла мины за бугор, и готов ее подождать.

Мы ждали минут пятнадцать. Напились воды из колодца. Я переобулся. Действительно, пуля ударила о магазин и, разворотив его, проскочила в широкий сапог. Она и мешала мне идти.

– Сохрани, – сказал Николаев. – Это удача. Эту пулю либо жене, либо мамаше, либо еще кому надо подарить.

Через четверть часа подъехала полуторка, и одновременно с ней пришел оттуда же, откуда и мы, уполномоченный особого отдела полка, рослый красивый парень с серыми глазами. Как я потом узнал, разговарившись с ним в следующую поездку сюда, он проделал финскую кампанию шофером, а после нее перешел в особисты. Он доложил Николаеву, что комиссар полка тяжело ранен и что он думает вынести его оттуда.

– Когда думаешь выносить? – спросил Николаев.

– Сейчас, – сказал уполномоченный. – Ничего, возьму с собой кого-нибудь еще, вдвоем вынесем. А то до вечера погибнет. Там врача нет.

– Хорошо, делайте, – сказал Николаев. Он ласково посмотрел на этого рослого парня, который только что проделал ту же самую дорогу, что и мы, сейчас снова проделает ее обратно, а потом пойдет в третий раз, вынося раненого.

– Делайте, – повторил Николаев. – Правильно.

Уполномоченный повернулся и пошел. Как я потом узнал, им повезло, они благополучно вытащили комиссара полка.

Мы сели в полуторку и поехали. Когда мы проезжали обратно мимо морской батареи, туда уже прибыла рота прикрытия. И вообще как будто на стрелке начинали наводить порядок. По дороге мы встретили начальника штаба батальона, старшего лейтенанта; он двигался вперед, на новый командный пункт. На его старом командном пункте, когда мы туда добрались, мы нашли заместителя командира дивизии полковника Ульянова. Тут же был и Киладзе. Увидев Николаева, он засуетился и стал поспешно объяснять, что не выехал с нашей машиной, потому что в это время побежал к телефону, а потом, когда он поговорил по телефону, наша машина уже отъехала, он нам кричал и махал руками, но мы не остановились.

Николаев выслушал его, закинул за спину руки, как мне показалось, чтобы удержаться и не ударить, и сказал, не повышая голоса:

– Вы больше не командир полка. Я вас снимаю. Вы временно будете командиром полка, – обратился Николаев к Ульянову. – Позаботьтесь, чтобы его, – он кивнул на бывшего командира полка, – доставили в Симферополь.

Киладзе побагровел и задрожал в буквальном смысле этого слова. И, заикаясь, проговорил какие-то жалкие слова о том, что он виноват, но он не трус, что он готов, что он...

Николаев молча слушал его. Я стоял сзади и видел, с какой силой он сжимал сцепленные за спиной пальцы.

– Вы трус и мерзавец, – еще раз повторил он отдельно. – Я вас буду судить.

И в том, как он медленно во второй раз повторил ту же самую фразу, чувствовалось, с каким трудом он сдерживает себя.

Сидя у стога сена с Ульяновым, Николаев тихо отдавал ему какие-то распоряжения, а я прилежал поодаль на траву. Начинало вечереть. Мне вспомнились разные дни, проведенные на войне. За исключением самых первых, этот, пожалуй, был печальнее всех. Вся сумма впечатлений от этой мертвой роты, брошенного оружия, от необстрелянности людей, от общего беспорядка, существовавшего к нашему приезду здесь, на стрелке, и даже от того, что Николаев, в человеческое поведение которого я просто влюбился, все-таки, по моему смутному ощущению, делал что-то не то, что нужно было ему делать как члену Военного совета, – все это вместе

взятое поразило меня, и у меня впервые мелькнула горькая мысль: неужели все-таки немцы возьмут Крым? И я не нашел тогда в себе твердого ответа: нет, не возьмут.

Мы сели в машину и уже в вечерней дымке добрались до лодки. Здесь мы простились с Пашей Анощенко. Она своим торопливым говорком произнесла какие-то ласковые слова, жалела, что ранен комиссар полка, и просила, если мы опять приедем, чтобы непременно ездили с нею. Потом мы сели в лодку, и моторка взяла ее на буксир. Оба доставлявших нас генических рыбака сидели в моторке, а на лодке остались мы втроем – Николаев, Мелехов и я. Николаев был без плаща и без шинели и ни за что не соглашался взять ни то, ни другое ни у меня, ни у Мелехова.

В Сивашах мелкой рябью колыхалась вода. Моторка шла медленно.

– Сам я виноват, – вдруг тихо и угрюмо сказал Николаев. – Сам виноват. Все позиции объездил, все до одной проверил, как укрепили, а вот на Арабатскую не поехал, на Савинова понадеялся. «Все в порядке». Сам виноват, сам виноват, – повторял он.

И по упрямому выражению его лица я понял, что он еще поедет на эту Арабатскую стрелку, что он внутренне взял на себя ответственность за эту мертвую роту, что он себе этого не простит и не успокоится, пока не облезит тут все, не посмотрит своими глазами каждый окоп.

На том берегу Чонгара нас ждала машина, и мы, сняв с фар маскировочные сетки, на максимальной скорости поехали в Симферополь...

Так закончилась тогда эта двухнедельная поездка, которая не выходила у меня из головы не только весной сорок второго года, когда я диктовал эти страницы дневника, но и потом, в сорок пятом, на улицах Берлина. Вспоминалась уже по контрасту.

Ради справедливости надо сказать, что горькие эпизоды под станцией Сальково и на Арабатской стрелке носили уже во многом нетипичный для сентября месяца характер. В данном случае немцы, подойдя к Крыму на четвертый месяц войны, столкнулись с еще совершенно необстрелянными и ни разу не принимавшими участия в боях частями. И многое из происшедшего на моих глазах и записанного в дневнике связано именно с этим. Обращусь к документам, которые, думается, в общем, подтверждают точность изложения этих событий в моем дневнике.

Вот как выглядел бой под станцией Сальково в приказе по войскам 51-й отдельной армии:

«15 сентября мелкие части противника появились на участке 276-й стрелковой дивизии. В 10 часов 30 минут двум-трем танкам и нескольким мотоциклистам только потому, что части 276-й стрелковой дивизии по-прежнему имели низкую боевую готовность, беспрепятственно и безнаказанно удалось выскочить к станции Сальково, куда подошел неизвестный эшелон с автомашинами и тракторами. Прямым выстрелом из пушечного танка противника паровоз был пробит, и эшелон остался на месте.

Примерно в это же время до роты мотоциклистов вело наступление с юго-запада на станцию Новоалексеевка, район которой оборонялся 3-м батальоном 876-го стрелкового полка с батареей.

Занятие противником станции Сальково сразу нарушило связь по постоянным проводам со станцией Новоалексеевка, в результате чего командиры 276-й стрелковой дивизии и 876-го стрелкового полка потеряли связь с командиром батальона.

В течение 15-го и до 15 часов 16 сентября командир и штаб 276-й стрелковой дивизии оставались безучастными наблюдателями того, что на их глазах небольшая кучка врага захватила эшелон автомашин и тракторов.

Командир 276-й стрелковой дивизии не выяснил положения батальона 876-го стрелкового полка, а командир 876-го стрелкового полка тоже никаких мер к выводу 3-го батальона не принял. Только по моему требованию командир дивизии предпринял попытку овладеть

станцией Сальково, вывести с нее автотранспорт и установить связь с 3-м батальоном 876-го стрелкового полка.

Около 18 вместо 16 часов 30 минут, как предусматривалось командиром дивизии, наступление батальона началось. Но плохо организованный бой не дал успеха. Наша артиллерия дала несколько очередей по своей пехоте.

В 24 часа наступление было прекращено и батальон получил приказание, оставив охранение, вернуться к утру в исходное положение».

Так оно все и было на самом деле, и я думаю, что этот отражавший реальное положение вещей приказ в немалой степени был результатом именно того, что все это своими собственными глазами видел член Военного совета армии Николаев.

Но если бы он не видел этого своими глазами, то допускаю, что истинный ход событий под Сальковым мог остаться неизвестным или не до конца известным штабу армии. Почему я так думаю?

А вот почему: 16 сентября в 23.40, то есть за каких-нибудь полчаса до того, как мы с Николаевым после неудачной атаки вернулись в штаб к Савинову, командир дивизии донес в корпус: «Боем батальона к исходу дня 16 сентября станцию Сальково занял. Противник под давлением батальона отошел с боем. Батальон усилил свежей ротой с задачей удержать станцию Сальково до выгрузки эшелона с автомобилями и выяснения положения с 3-м батальоном в Новоалексеевке. К утру батальон отведет в исходное положение».

Это первоначальное донесение, посланное из дивизии наверх, не имело ничего общего с действительностью – достаточно сличить его с уже процитированным мною приказом по войскам 51-й армии.

В этом же приказе сказано и о событиях на Арабатской стрелке:

«Пример проявления безволия и трусости показал в этот день командир 873-го стрелкового полка полковник Киладзе в северной части Арабатской стрелки.

4-я рота 873-го стрелкового полка, вместо того чтобы оборонять позицию на северной окраине Геническа, затем на северной части Арабатской стрелки, без боя отошла в район Генической Горки.

Около 23 часов 16.IX группа фашистов в 30–40 человек, не встретив наших частей, проникла в северную часть Арабатской стрелки, откуда была выбита огнем артиллерии без всякого участия в бою пехоты.

Факт безнаказанного проникновения на стрелку группы противника с мотоциклами указывает на то, что командир 2-го батальона 873-го стрелкового полка старший лейтенант Кузнецов проявил нераспорядительность и трусость.

Находившийся 16.IX на стрелке командир 873-го стрелкового полка полковник Киладзе с завязкой боя позорно, трусливо, самовольно уехал со стрелки, не приняв никаких мер, чтобы навести порядок и заставить красноармейцев и командиров 2-го батальона выполнить боевой приказ. Причем полковник Киладзе донес командиру дивизии, что на стрелке все спокойно, а командир дивизии генерал-майор Савинов не проверил правдивость донесения.

Полковник Киладзе неточно выполнил приказ командира дивизии. Вместо того чтобы немедленно выйти на стрелку и выяснить положение, полковник Киладзе только в 8.00 17.IX начал выдвижение на стрелку. Выдвинувшись в район Генической Горка, полковник Киладзе ничего не сделал, по-прежнему подло, трусливо бездействуя.

События на Арабатской стрелке выявили отсутствие твердого руководства и контроля со стороны командира дивизии генерал-майора Савинова, штаба той же дивизии, командиров полков, батальонов 276-й дивизии и показали преступную трусость в поведении командира 873-го стрелкового полка полковника Киладзе».

А теперь возьмем этот же эпизод на Арабатской стрелке, уже дважды изложенный – и в моих записках, и в только что процитированном приказе, – и посмотрим, как он выглядит в

третьем варианте изложения: в жалобе бывшего командира 873-го стрелкового полка полковника Киладзе в Управление кадров РККА, отправленной им в июле 1942 года, когда события отодвинулись в прошлое и ему, очевидно, казалось, что о них успели забыть.

«С боевой характеристикой, данной мне оценкой за боевую работу в годы Отечественной войны я не согласен. В августе 1941 года полк был отправлен на Крымский фронт. В районе сосредоточения полка был выделен 2-й батальон самостоятельно на Арабатской стрелке для занятия района. Этим батальоном командовал неопытный командир.

В последних числах августа месяца 1941 года на участке 2-го батальона противник произвел разведку, ему удалось выявить расположение батальона. После стычки с противником разведка батальона отошла с потерями, но не была уничтожена полностью. Связь со 2-м батальоном была исключительно через посыльных, так как управление штаба полка и два батальона находились на левом берегу Сиваша, а 2-й батальон – на правой стороне Сиваша, два с половиной километра.

Батальон только впервые получил боевое крещение, командование не смогло преждевременно оценить противника и не организовало уничтожения его. Как только стало известно об этом, я с начальником штаба переправился на тот берег и принял все меры...

О случившемся факте командующий армией назначил расследование на предмет установления причин появления противника на Арабатской стрелке. Установлено было, что командир батальона не вел непрерывной разведки и слабо организовал охранение, благодаря чему и сам командир батальона погиб в этой стычке и мне оставил на всю жизнь незаслуженное обвинение, после чего последовал приказ по армии о моем снятии с командования полка с формулировкой «за проявленную слабохарактерность и безвольность», тогда как материалом расследования подтвердилось, что я и штаб в этот период не могли возглавить батальон, и дело по обвинению меня было прекращено, на что я имею справку прокуратуры Крымского фронта».

Я привел эту написанную через год после событий и – надо добавить – не имевшую успеха жалобу потому, что, если мысленно опрокинуть ее в прошлое, нетрудно представить себе ее не в виде жалобы, а в виде донесения, которое такой человек мог отправить о событиях, происшедших на Арабатской стрелке, если бы, на его несчастье, там не оказался Николаев, увидевший все, что произошло, собственными глазами.

В приказе по армии генерал-майору Савинову объявлялся выговор за нетребовательность и нераспорядительность. Киладзе за бездеятельность и трусость устранялся от занимаемой должности и предавался суду военного трибунала. В этом же приказе предавался суду и командир находившегося на Арабатской стрелке батальона, хотя он к тому времени был мертв.

Приказ, видимо, был написан второпях, и на нем не стояло подписи Николаева. В следующем приказе по армии, изданном через пять дней и на этот раз подписанном и Николаевым, вносилась поправка:

«Ввиду выяснившихся обстоятельств, что командир 2-го батальона 873-го стрелкового полка старший лейтенант Кузнецов руководил боем отдельной группы батальона с проникшим на Арабатскую стрелку противником и геройски погиб, приказываю:

Пункт 5 приказа войскам армии от 18 сентября 1941 года отменить.

Ответственность за ложные сведения о старшем лейтенанте Кузнецове несет бывший командир 873-го стрелкового полка полковник Киладзе».

Я сказал, что, очевидно, первый приказ по армии писался второпях. Об этом говорит быстрота его появления. Насколько я понимаю, это было результатом запроса начальника Генерального штаба Б.М. Шапошникова, не знаю уж, через какие каналы, но получившего сведения о событиях под Сальковым и на Арабатской стрелке. Из текста видно, что приказ был отправлен Шапошникову в ответ на его запрос.

В чисто военном смысле ничего катастрофического не произошло. Положение на Арабатской стрелке было без особого труда восстановлено. А тот батальон 276-й дивизии, кото-

рый отрезали немцы под Сальковом, вопреки первым сведениям не погиб, а, потеряв пятьдесят человек убитыми и ранеными, прорвался через тылы немцев и присоединился к одной из дивизий воевавшей на материке 9-й армии. Но смысл событий и содержащийся в них урок были гораздо серьезнее масштаба этих двух частных неудач. Видимо, именно это и обеспокоило Генеральный штаб. То, что приказ, который я цитировал, был все-таки издан и многие вещи названы в нем своими именами, было важно и полезно – у нас оставалось меньше недели до начала генерального немецкого наступления на Крым.

Ну а если бы подлинная картина не стала ясной? Если бы то донесение о бое за станцию Сальково, которое направил вверх командир 276-й дивизии, или те объяснения, которые выдвигал в свою защиту командир 873-го полка, были приняты за нечто достоверное? Что тогда? Как бы отразилась подобная неправда на наших дальнейших упорных оборонительных действиях в Крыму? Наверно, самым дурным образом. Должно быть, этим чувством и были вызваны мои тогдашние горькие строки о бедах, которые способны принести на войне люди, боящиеся начальства больше, чем противника...

Хочу дополнить сказанное о событиях под Сальковом и на Арабатской стрелке еще одним свидетельством, взятым из книги воспоминаний бывшего заместителя командующего 51-й отдельной Крымской армией генерала армии П.И. Батова. Вот что он пишет по этому поводу:

«Оборону держала здесь, как я уже говорил, 276-я стрелковая дивизия, сформированная в Чернигове уже после начала войны; больше половины бойцов в ней в возрасте за тридцать лет, не обученных ведению боя. Как-то генерал И.С. Савинов откровенно признался мне, что он просто порой теряется из-за того, что люди еще не умеют по-настоящему с винтовкой обращаться, а большинство командиров – из запаса, без опыта командования. Помочь ему кадрами было невозможно: в это время в офицерах до крайности нуждалась осажденная Одесса и управление 51-й отдельной армии, отрывая от себя, посылало их туда. Самого комдива я знал как квалифицированного штабного работника. Позже, в ноябре и декабре сорок первого года, на Тамани, когда я принял в командование 51-ю армию, генерал Савинов служил у нас заместителем начальника армейского штаба, а после гибели генерала Шишенина возглавил штаб, прекрасно работал при подготовке десантной операции. Это был очень опытный штабной работник, но командовать дивизией ему, видимо, было тяжело. По характеру мягкий, обходительный, привыкший более доверять, нежели проверять, он представлял полную противоположность Черняеву и Первушину. И потом одна черта, опасная в боевой обстановке: командир 276-й дивизии больше всего боялся начальства. Окрик лишал его способности работать».

Я с большим интересом нашел в мемуарах Батова и несколько упоминаний об Андрее Семеновиче Николаеве. Приведу два из них:

«Николаев по своему обыкновению облазил весь передний край 156-й дивизии, как раз в этот день немецкие самолеты просто не давали житья. Ну Николаев-то был к опасности боевой обстановки равнодушен, наоборот, его как будто приводило в хорошее настроение сознание, что он вполне делит эти опасности с массами бойцов и офицеров. К сожалению, он не ответил на волнующие нас вопросы: оценка противника, вероятное направление его удара, а самое главное – наши резервы...»

«...Ему, как и многим товарищам, испытавшим чрезвычайное выдвижение в конце тридцатых годов, было туговато... На Хасане он был комиссаром полка. Теперь – член Военного совета армии, действующей на правах фронта. С командующим у них не было взаимного понижения. Не будучи в состоянии поправить командарма в главном, Николаев, исправляя частности, уезжал в полки, в родную для него стихию боя».

Прочитав это, я еще раз заново подумал об Андрее Семеновиче Николаеве, о своей тогдашней, в общем, восторженной оценке его личности и о том, что представлял собой этот

человек в действительности. Не с точки зрения восхищенного его храбростью военного корреспондента, а с более существенной точки зрения, высказанной Батовым.

Смотрю личное дело Николаева, разрозненные архивные документы, бросающие свет то на один, то на другой кусочек его биографии, и думаю, что Батов, наверно, прав: там, в Крыму, на такой большой должности Николаеву было тужовато.

«14 августа 1936 г. – Присвоено звание старшего политрука.

3 декабря 1937 г. – Назначен начальником политотдела Академии Генерального штаба.

8 декабря 1937 г. – Присвоено звание батальонного комиссара.

8 июля 1938 г. – Назначен исполняющим обязанности начальника политуправления Первой армии Краснознаменного Дальневосточного фронта.

10 июля 1938 г. – Присвоено звание бригадного комиссара.

31 июля 1938 г. – Утвержден начальником политотдела этой же армии.

10 сентября 1938 г. – Назначен начальником политуправления 1-й Отдельной Краснознаменной армии.

18 ноября 1938 г. – Назначен членом Военного совета Киевского особого военного округа.

19 ноября 1938 г. – Присвоено звание дивизионного комиссара.

2 февраля 1939 г. – Присвоено звание корпусного комиссара...»

Если все это подытожить, окажется, что человек, бывший еще 2 декабря 1937 года выпускником Военно-политической академии и старшим политруком по званию, ровно через четырнадцать месяцев после этого был уже корпусным комиссаром и членом Военного совета округа.

Что сказать об этом?

Даже самый преданный делу и бесстрашный человек не может силою одних приказов превратиться за год или за два из старшего политрука в корпусного комиссара, как это было с Николаевым, или из старшего лейтенанта стать заместителем наркома обороны и командующим Военно-Воздушными Силами, как это было, скажем, с храбрейшим летчиком Рычаговым...

Да, конечно, думая сейчас о Николаеве, я куда больше, чем тогда, в 1941 году, понимаю, что он, наверно, не был в достаточной мере готов к тому, чтобы стать членом Военного совета армии на правах фронта. Он мог быть, да, в сущности, и был превосходным, храбрым комиссаром полка или дивизии.

И там, в Крыму, в 1941 году, я влюбился в него потому, что видел его именно в те моменты, когда он был на своем месте бесстрашного комиссара полка или дивизии. Он делал на моих глазах именно то, что умел делать лучше всего, и в этом и состояла основа моего тогдашнего взгляда на него.

Глава пятнадцатая

Когда мы вернулись в Симферополь, Николаев прямо пошел к командующему, а Мелехов повел меня в комнату, где располагались адъютанты.

Вскоре туда пришел Василий Васильевич Роцин, и мы с Мелеховым, перебивая друг друга, стали рассказывать ему все, что видели. Он сидел и смотрел на нас своими умными грустными глазами. Про пережитые нами страхи он, кажется, пропустил мимо ушей. Но то, что стояло за всем этим, то, о чем я не говорил вслух, но о чем думал и тревожился, рассказывая об Арабатской стрелке, видимо, расстроило его. Молча взяв меня за руку, он повел к себе и уложил спать на диван. Я заснул мгновенно, как в яму провалился.

На следующий день в Симферополе происходили похороны Героя Советского Союза Трубаченко. Я помнил его еще по Халхин-Голу. Он погиб во время воздушного боя, и хоронили его торжественно, с оркестром, знаменами и речами.

Когда я сейчас думаю о том, что в Симферополе немцы, перед моими глазами возникают то утро похорон и заботливо украшенная, засыпанная цветами могила Трубаченко. Мысли о разоренной могиле почему-то рожают у меня даже более горькое чувство, чем мысль о разоренном городе.

Вернувшись с похорон, я засел на весь день в нашей пустой квартире, записывал и приводил в порядок всякие свои соображения по поводу виденного вчера.

Халип застрял в Севастополе – снимал там моряков и летчиков. Покончив со своими записями, я на следующий день съездил за ним.

В Симферополь мы вернулись среди ночи. Я на всякий случай заехал в штаб к Николаеву. Оказалось, что он завтра же утром поедет на передовые – сначала на Сиваши, а потом еще раз на Арабатскую стрелку.

Утром Халип поехал на нашей машине, кажется, куда-то к летчикам, а я с Николаевым поехал на Сиваши. Ехал и думал, как мне быть дальше. С одной стороны, я много увидел и, наверно, еще многое увижу здесь, а с другой стороны, было совершенно непонятно, как все это печатать в газете. То ли писать без обозначения места действий, без пейзажа, без Сивашей? То ли гримировать все это под Одессу? А может быть, уже разрешат писать о боях на подступах к Крыму? Все это надо было выяснить, и я сначала подумал, а потом сказал Николаеву, что после этой нашей поездки или после следующей я на два-три дня слетаю в Москву, чтобы отвезти материалы и выяснить, как же писать дальше, что можно и чего нельзя.

Весь этот день мы провели на Сивашах, которые были порядочно укреплены. Здесь все было заминировано – и берег, и отмели; проволочные заграждения шли не только по суше, но и были протянуты через мелководные лиманы. На возвышенностях стояли бетонные точки, железные колпаки, и все это соединялось довольно разветвленной системой окопов и ходов сообщения.

Немцы уже начинали активно действовать в воздухе над Крымом, и за день мы попали под две бомбежки. Но на земле все еще было тихо. На том берегу показывались мелкие группы немцев: пехота, мотоциклисты. Наша артиллерия открывала по ним огонь. Небольшие группы наших разведчиков, засланные на тот берег, вели там мелкие стычки с немцами. Было очень хорошо простым глазом видно, как наша артиллерия накрыла огнем взвод немцев, пробиравшихся вдоль отмели, как они падали, бежали, опять падали.

В общем, было предгрозе, тихий день, ничем особенно не примечательный. Халип опять дал мне один из своих фотоаппаратов, и я кое-что снял. Потом эти фотографии появились в «Красной звезде».

Николаев досконально обследовал позиции, ходил по окопам, спрашивал обо всем, начиная от стирки белья и кончая куревом, вникая в разные подробности быта, пробовал еду из котелков. И потому, что он был человек простой и умный, все это не выглядело у него показной заботой большого начальства, а было самым настоящим, необходимым и естественным делом.

Сиваши обороняла хорошая дивизия, в основном кадровая, командовал ею полковник Первушин. Впоследствии во время отступления дивизия дралась лучше всех и была выведена из Крыма в порядке после очень тяжелых боев. Первушину дали за это генерала, и он командовал потом 44-й армией.

Здесь, на Сивашах, Первушин в роли командира дивизии мне очень понравился. Это был волевой, сдержанный человек, очень жесткий и строгий; было видно, что он как следует подтянул свою дивизию. Такая же подтянутость и строгость чувствовались и у его командиров полков.

Заехал на позиции дивизии Первушина и командующий 51-й армией Кузнецов. Он так же, как и Николаев, приехал сюда проверять систему обороны. Они были взаимно подчеркнуто вежливы, но за этим чувствовался холодок.

Мы ходили вдоль окопов, когда появились над головой немецкие самолеты. Все быстро полезли в окопы, и это, конечно, было совершенно правильно. Только Николаев торчал на бруствере окопа и, поворачивая голову, следил, откуда и как пикируют самолеты. Кузнецов, который был тут же, рядом в окопе, сердито крикнул:

– Андрей Семеныч! Спуститесь! Вы же демаскируете.

Николаев послушно спустился в окоп, недовольно, досадливо крякнув. Мелехов сказал мне, что у корпусного комиссара с командующим прохладные отношения возникли с тех пор, как они несколько дней назад ездили вместе и Николаев обнаружил, что командующий излишне поспешно, по его мнению, выскакивает из машины, едва заслышав гул самолетов. Впрочем, не берусь судить, насколько это соответствовало действительности.

К вечеру мы с Сивашей поехали на Чонгар. Там, как и прошлый раз, заночевали у Савинова, а утром двинулись на Арабатскую стрелку. Николаев хотел сам убедиться, какие там приняты меры. На этот раз он, не скрывая иронии, спросил у Савинова:

– Вы ведь теперь там были?

– Да, – сказал Савинов.

– Вы ведь теперь все знаете?

– Да, – сказал Савинов.

– Так вот вы меня и свезите туда, покажите принятые вами там меры.

Утром на моторной лодке мы снова переправились на Арабатскую стрелку.

Там, где раньше был командный пункт батальона, теперь располагался со своим штабом Ульянов. Пока Николаев и Савинов разговаривали с ним, я отыскал Пашу Анощенко, которая теперь со своей полуторкой была прикомандирована к штабу полка. Мне хотелось при случае написать о ней. Присев рядом с ней на копне сена, я стал расспрашивать об ее жизни. Это была самая обычная, простая история, рассказанная милой девичьей скороговоркой с южным хаканьем и горячей жестикуляцией. Паша так и не успела переобмундироваться. Ее и без того худое лицо стало совсем худеньким, на нем были видны только огромные глаза.

Рассказав, что происходило у них здесь в последние два дня, она потащила меня за руку к своей полуторке, чтобы показать, в каких местах вчера вечером, когда она вывозила раненых, пробили ее машину осколки мин. Так я ее и снял около пробитой полуторки – в косынке и платице. Этот снимок потом был напечатан в «Красной звезде».

Поговорив с ней, я вернулся к Николаеву. Как раз в эту минуту к нему привели какую-то женщину с мешком за плечами. Она оказалась жительницей Геническа и перебралась на Арабатскую стрелку ночью по мосту, который, как теперь выяснилось, был затоплен настолько неудачно, что через него можно было перебраться по грудь в воде. Она перешла на этот берег и была задержана нашим патрулем. Патрульные, как водится, пожалели ее, отдали ей половину своих харчей, а тот из них, что вел ее в штаб, по дороге сетовал, что не может отпустить ее в деревню Геническа Горка, куда она, по ее словам, шла, потому что такой уж приказ командования, чтобы всех отводить, а то, конечно, он бы с радостью...

Словом, ее доставили в штаб.

По словам особиста, который допросил женщину предварительно, она не представляла особого интереса и не внушала подозрений. Выбралась из Геническа и шла теперь на Геническую Горку, где когда-то работала, а отсюда хотела пройти к своей замужней сестре, жившей в Керчи.

Женщина была невысокая, с темным невыразительным лицом, некрасивая, какая-то вся черная. Все было у нее черное, не только платье, но и лицо.

Николаев поглядел на нее недоверчивым взглядом и, отпустив особиста, стал допрашивать ее сам. Первое подозрение ему внушило содержание узла этой женщины. Николаев приказал развязать его. В узле было совсем не то, что может взять с собой человек, тщательно и обдуманно готовившийся идти в большую дорогу, было напихано не самое необходимое, а все, что попало под руку, все, что можно было сунуть для вида, второпях. А женщина, по ее словам, с самого прихода немцев, уже несколько дней, готовилась к побегу.

Разговор был длинный и тяжелый. Она не обладала ни умом, ни хитростью, не была озлоблена и запугана. Видимо, ее научили, что она должна говорить, и она упорно твердила урок, даже когда это стало явной нелепостью.

Всех подробностей допроса я не запомнил. Он длился около двух часов. Из нее приходилось выматывать слово за словом. Сначала она не признавалась ни в чем, потом призналась, что под угрозой оружия немцы заставили ее перейти сюда, чтобы она принесла им сведения. Но что она этого не хотела делать и что это было для нее только способом бежать от немцев. Потом выяснилось, что у нее был пропуск на обратный переход и что было условлено, как она перейдет обратно. В общем, вся нехитрая картина вербовки случайной шпионки стала полностью ясна. Женщина была одним из тех шпионов, которых немцы в большом количестве с самого начала войны то здесь, то там засылали к нам на авось – вдруг выйдет. В редких случаях они пробирались благополучно, чаще попадались. Но немцам на это было наплевать, пропадут – и ладно. Зато в случае удачи они могли принести кое-какие сведения. Эта должна была узнать, какие у нас противотанковые укрепления здесь, на Арабатской стрелке, и, придя обратно, сообщить об этом. За это ей обещали десять тысяч рублей. Слова «десять тысяч рублей» она произносила почти с благоговением. Видимо, для нее это была такая цена, называя которую она как бы отчасти оправдывала свой поступок. Это были такие деньги, за которые, по ее понятиям, можно было сделать все.

Она была дочерью богатого куркуля, раскулаченного здесь в тридцатом году. Она тоже ездила с семьей куда-то в ссылку, потом вернулась. Круг ее знакомых тоже был из бывших ссыльных, убежавших оттуда или вернувшихся. Ее любовник Костюков – я запомнил эту фамилию, – по ее словам, бежал из ссылки еще до войны и не только пробрался в армию, но и в «школу командиров». Он пришел в Генгичек вместе с немцами из Николаева. И именно через него она и стала шпионкой.

Ее не расстреляли, потому что была надежда, что через нее удастся выловить этого Костюкова. Она тут же дала понять, что для спасения своей жизни готова продать своего любовника.

И вдруг, когда кончился этот допрос, в блиндаж, где он происходил, вошла Паша Анощенко. Они встретились глазами, эти две женщины, и Паша, повернувшись к Николаеву и дернув его за рукав – она не имела никакого представления о чинах, званиях и тому подобном, – сказала:

– Товарищ начальник, когда же поедем? Машина готова, ждет. Только я с вами на самые передовые. Чтобы вы меня теперь не оставляли. А, товарищ начальник?

Я вышел из блиндажа вслед за Пашей.

– Товарищ начальник, – сказала она, теперь дергая за рукав меня так же, как до этого дергала Николаева. – Что вы на нее глядите? Я бы убила ее, и все. Ведь вы не отпустите ее, нет?

– Не отпустим, – сказал я.

Через четверть часа мы двинулись на передовую в полуторке, за рулем которой сидела Паша...

Здесь, где я в последний раз упоминаю в дневнике о Паше, которая возила нас с Николаевым по Арабатской стрелке, меня радует возможность рассказать о ее дальнейшей судьбе.

В «Красной звезде» был напечатан не только снимок Паши Анощенко, но и мой очерк о ней «Девушка с соляного промысла». Как потом выяснилось, и то и другое тогда, в сорок первом году, могло ей дорого обойтись.

Облик этой дерзкой и самоотверженной «шоферки» врезался мне в память на долгие годы. Через пятнадцать лет после тех событий в Крыму, о которых идет речь в дневнике, я написал маленькую повесть «Пантелеев», в которой были и Арабатская стрелка, и погибшая рота, и не успевшая переобмундироваться девушка в выпавшем платье и косынке, возившая под огнем минометы, прицепив их к своей пробитой осколками полуторке. Именно эта повесть еще через десять лет помогла мне разыскать Пашу Анощенко.

Однажды я нашел у себя на столе письмо, пришедшее из Керчи. В обратном адресе была указана незнакомая фамилия, но с первых же строк письма стало ясно, что в нем идет речь о хорошо знакомых мне событиях. Вот это письмо с некоторыми сокращениями:

«Обращаюсь к Вам с просьбой. Дело касается одной статьи, напечатанной в журнале „Москва“ под заголовком „Рассказ Пантелеева“. В этом рассказе Вы описали то, что происходило в Крыму, на Арабатской стрелке, под Геническим. В рассказе упоминается о девушке-шофере, которая подвозила боеприпасы к передовой. Когда я прочитала этот рассказ, я узнала в девушке-шофере себя. Это было в конце сентября 1941 года. Я была вольнонаемная – меня брали на укрепление обороны с машиной. Я возила снаряды на передовую линию из дер. Ген. Горка, где находился штаб, через пионерский лагерь к Геническому. По машине немцы вели обстрел. В машине находились пять бойцов, снаряды, был прицеплен полковой миномет. Осколком снаряда ударило в капот по брызговику, капот отлетел, к счастью, мотор не задело, верх кузова машины был прострелен пулями. Мотор заглох. Бойцы ушли в окоп, а я в это время продула трубку, подающую горючее, завела мотор, собрала бойцов, и мы поехали дальше. Снаряды мы разгрузили на передовой у домика, стоявшего в стороне от пионерлагеря. Обстрел продолжался, было прямое попадание в дом, и это спасло машину и снаряды... Эти события потом были описаны в газете под заголовком „Девушка с соляного промысла“, помнится, за 2 октября 1941 года. Прошло много лет. Дни войны стали забываться, и вот однажды одна учительница, которой я раньше рассказывала о днях, проведенных на обороне Геническа, принесла мне журнал с описанием этих событий. Читали рассказ всей семьей, затем я отослала его в Ленинград сыну (он там учился), а он отдал его кому-то почитать, так и затерялся. Больше у меня ничего не осталось, что бы напоминало мне о прожитых годах войны... Очень хотелось бы иметь хоть одну газету военных лет с описанием этого эпизода моей жизни. Но где хранятся такие газеты, я не знаю. Может, Вы сможете в этом мне помочь? До свидания, с уважением к Вам Колупова Прасковья Ник. Фамилия до замужества Анощенко П.Н. В газете моя фамилия указывалась правильно, а в журнале нет, там было написано Горобец, правильно Анощенко».

Я написал Прасковье Николаевне и вскоре получил ответ:

«...Вы просите рассказать Вам о том, как сложилась моя жизнь-судьба после сентября 1941 года. Я вам опишу.

2 ноября 1941 года по приказу командования временно отступить мы начали отступать через пролив в Тамань. Я в это время работала на санитарной машине. И я с ранеными переправилась в Тамань. В Тамани меня вызвал полковник Ульянов и сказал, что наш полк расформируется и что я с бойцами направляюсь в Краснодарский край, ст. Роговская, в медсанбат 217. Там я встретила со своим мужем Беспяткиным Георгием Ефимовичем, в то время он был лейтенантом. Замуж я вышла еще до войны, но паспорт заменить не успела, так я и осталась на своей фамилии. Жить нам пришлось недолго, 22 марта нашу 156-ю дивизию направили на поддержку керченского десанта. 9 мая начали отступать. Я возила раненых на сан. машине с д. Михайловки в крепость г. Керчи, а 14 мая мне сказал старш. лейтенант, что мой муж Беспяткин Г.Е. погиб в боях за Керчь.

После отступления с Керчи нас направили опять на фронт под Ростов. Под Ростовом около реки Маныч мы попали в окружение. Мы разбились на маленькие группы по приказу командира и начали ночами выходить из окружения. А днем я переодевалась в гражданскую одежду и добывала продукты для нашей группы. Шли мы Сальскими степями. Когда пробираться стало труднее, мне сказали, что мне, как будущей матери, лучше пробираться одной. И я пошла одна. Идти было очень трудно, шла в основном ночами, выбирала проселочные дороги, ровно месяц и десять дней.

На сольпроме, где жила раньше, я не пошла, так как мне сказали, что меня разыскивают и что у начальника полиции лежит вырезка – фотография и статья из газеты обо мне – на столе под стеклом и он все время узнавал, не вернулась ли я. Итак, мне пришлось жить на другом сольпроме, вблизи Керчи. Но и здесь стало известно, что я служила в армии. Местный полицейский допрашивал меня, с какой целью я вернулась сюда, и бил. В этот период у меня родился сын. Я назвала его в честь погибшего мужа Георгием.

Жена полицейская заступилась за меня, сжалась, как женщина, что у меня маленький ребенок. Но все же полицейский сказал одному немецкому офицеру, что я русский солдат и что муж был командиром. Офицер этот пришел к нам домой, бил и сказал, что меня расстреляют. Пригрозил, что если я уйду, то расстреляют всех родственников, а сам поехал за гестаповцами. К счастью для меня, он не доехал, по дороге погиб. А я забрала ребенка и уехала в Исламетровский район, где жила до освобождения Керчи. В этих местах были люди, эвакуированные с сольпрома, они знали обо мне все, но меня никто не выдал, а когда находили листовки, приносили мне читать.

Когда освободили Крым, меня сразу же райзо направило на работу в Марфовку шофером. Там я работала до 1947 года. В Марфовке я познакомилась с Колуповым Василием Ивановичем. Он был инвалидом второй группы, во время войны был в Ленинграде, пережил блокаду. Он жил один с двумя ребятами. И я решила выйти замуж и воспитать своего сына и этих двух ребятшек. Всей семьей мы выехали на Арабатскую стрелку, где я опять работала шофером».

В конце письма Прасковья Николаевна коротко написала о своей жизни, что работает в колхозе «Рассвет», но свою старую шоферскую специальность оставила. Трое старших сыновей в их семье теперь уже сами взрослые, женатые люди. Один работает начальником связи, другой – горным мастером, третий – шофером. А четверо младших – три дочери и сын – еще учатся, самый младший, Василек, – всего-навсего в первом классе...

Я достал из архива старый номер «Красной звезды» с моим очерком и с фотографией Паши Анощенко.

В очерке были строчки о нашей тогдашней тревоге за ее судьбу: «...Еще издали были слышны частые разрывы мин. Как-то невольно думалось о Паше. Хотелось опять увидеть ее белый платочек и васильковое платье, услышать ее торопливую скороговорку. И в то же время боялись за нее, боялись, потому что война и слишком часто встречаешься для того, чтобы больше не увидеться...»

Опасения такого рода мучительно часто оправдывались на войне. Могли оправдаться и на этот раз – и там, на Арабатской стрелке, и потом под Керчью, под Ростовом, в окружении, в оккупации...

И все-таки не оправдались. Хотя для того, чтобы узнать об этом, понадобилось много лет.

Возвращаясь к тому, на чем прервал себя.

...На этот раз с нами на полуторке поехал Савинов.

Сначала мы побывали у артиллеристов, потом поехали дальше, где два дня назад увидели первых наших убитых. Теперь там сидела морская пехота. Моряки тщательно окапывались. Так же основательно окапывались и пехотинцы, стоявшие сзади них и непосредственно при-

крывавшие батарею. Батарея была морская, и командир роты моряков попросил Николаева, нельзя ли сделать так, чтобы всех их, моряков, соединить вместе, чтобы они сами прикрывали свою батарею. Такую же просьбу высказывал раньше и командир батареи, когда мы через нее проезжали. Там, на батарее, Николаев согласился, а здесь, к моему удивлению, вдруг сказал:

– Нет, нет. Здесь стоять будете. Здесь и окапывайтесь.

Мы немножко побыли у моряков. Было сравнительно тихо, немцы вели редкий беспокоящий минометный огонь: каждые пять-шесть минут по одной мине.

От моряков мы возвращались уже в сумерки. Я обратился к Николаеву:

– Товарищ корпусной комиссар, ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос.

– Да.

– Почему вы командиру морской батареи сказали, что переведете к нему моряков, а морякам сказали, что оставите их на месте?

Николаев усмехнулся.

– Почему, почему? Конечно, переведем! Пехоту перебросим вперед, а их назад, к батарее. А им не сказал. Если сказать, что перебросим их назад, они для других не будут заканчивать свои окопы. А так они всю ночь будут трудиться, копать. Устроят все для себя по-хорошему, а потом утром мы их перебросим. Погорюют, что, по их мнению, зря потрудились, но окопы уже будут в полный профиль. Вот так! – Он рассмеялся.

На обратном пути я снял батарею, эти снимки потом появились в газете. На берег лимана мы приехали совсем поздно. Была совершенно черная южная ночь. Мы немножко проплутали, ища причал, где стояла моторка. Во время этих поисков Савинов что-то беспрерывно говорил Николаеву. Николаев молчал, он был недоволен. Дело в том, что, как он и ожидал, Савинов без него не ездил никуда дальше командного пункта Ульянова, хотя и говорил ему, что все осмотрел. Как только мы пошли вперед от командного пункта полка, ему сразу же стало ясно, что Савинов нигде впереди не был.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.